

Евсей
ЦЕЙТЛИН

ПЕРЕЧИТЫВАЯ МОЛЧАНИЕ

Из дневников
этих лет



Евсей Цейтлин

ПЕРЕЧИТЫВАЯ МОЛЧАНИЕ

Из дневников этих лет

СПб
«АЛЕТЕЙЯ»
2020

Цейтлин Е.

Ц71 Перечитывая молчание — СПб: Алетейя, 2020. 172 с. — (Серия «Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-617-7697-59-5

Евсей Цейтлин — эссеист, литературовед, прозаик. Автор многих книг. Среди них — «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», о которых почти четверть века говорят и спорят в разных странах (книга переведена на английский, немецкий, испанский, литовский, украинский языки). Сборник дневниковых новелл и эссе Евсея Цейтлина «Перечитывая молчание» по-своему продолжает «Долгие беседы...». Нобелевский лауреат Эли Визель называл советских соплеменников «евреями молчания». Евсей Цейтлин пробует «расшифровать» это молчание, многие годы записывая еврейские исповеди и сны. Вместе со своими героями автор погружается в их прошлые жизни, полные тайн, которые человек пытается, но не может забыть. Классик современной литературы Дина Рубина пишет в послесловии к сборнику «Перечитывая молчание»: «Любая книга Евсея Цейтлина воспринимается как вселенная — судеб, чувств, мыслей и снов. Эти книги медленно читаются, потому что пробежать глазами их невозможно: каждый эпизод, каждое воспоминание и каждое лицо властно возвращает читателя к строке, к осмыслению, к внутреннему взгляду... Ни единой проходной мысли в книге, ни одного банального сравнения, ни одной расхожей судьбы».

УДК 821.161.1(477)'06-1-3

© Е. Цейтлин, 2020
© Издательство «Алетейя» (СПб), 2020

ОДИНОКИЕ
СРЕДИ ИДУЩИХ

У них было особое выражение глаз. А мне казалось даже — особый запах. И уж точно: особая походка.

Это походка одиноких людей.

Я сразу обратил на них внимание — много лет назад, когда только начал записывать рассказы советских евреев.

Иногда это был всего лишь легкий всплеск слов и жестов — сбивчивые, как торопливый выдох, исповеди в очередях у американского и нидерландского посольств (последнее, как вы знаете, долго представляло в Москве интересы еврейского государства), затем — израильского консульства.

Преодолевая страх, они приходили за вызовами и визами. И я запомнил их, с кем-то, вроде бы, подружился.

Но потом многие потерялись, куда-то исчезли. Только лица и голоса по-прежнему живут в моем блокноте.

БЕЗ ЯЗЫКА

Неподвижное, окаменевшее будто лицо. С ним явно контрастирует надрывность речи.

— Вы не догадаетесь, за что я ненавижу общество «Память»... — Она делает паузу, но мне ничуть не хочется гадать. Все равно мне не придет на ум ее довод: — Не могу перенести, что вынуждена говорить на их языке!

Ловит мой недоуменный взгляд:

— Я не в каком-то переносном смысле — в самом прямом. Я общаюсь, мыслю, читаю, мечтаю — только по-русски.

Она истерична, в основном лишь себя и слушает. Все же, не будучи права, приближается неожиданно к истине.

— Они... они презирают меня. Самое суть мою презирают. А я вынуждена пользоваться их языком. Они твердят, что евреи спаивают русский народ, сгубили деревню, испортили культуру. Это демагогия? Но вот лучший их аргумент: я отвечаю им на их языке. Что у меня своего, еврейского? Действительно, пустоцвет, перекаати-поле...

Молчу по-прежнему, боясь согласиться с ней, по больному ударить. Хотя знаю: здесь почти все — правда... В голове ее, конечно, мешанина из прочитанных книг: Ремарк, Хемингуэй, Кафка, Булгаков... В разное время эти авторы были модны, каждый она увлекалась недолго. Но ведь скорее всего любит она — действительно, любит — Есенина: чувствует надрыв души, что тaitся за бедными рифмами, за сравнениями типа: «голова моя машет ушами, как крыльями птица». Вероятно, еще ей близки в Есенине безоглядность искренности, безотчетное стремление к исповеди.

В почтовом отделении на Большой Ордынке спрашивает меня:

— Нет ли у вас ручки?

И тут же, признав во мне своего, разъясняет:

— Надо написать собственные данные, чтобы прислали из Израиля вызов. Ведь и вы, не правда ли, пришли сюда за тем же?

Нет нужды объяснять ей что-либо. Просто мы вместе отправляемся к израильскому консульству, где она опускает в ящик свой конверт. Стоим потом в толпе. Вслушиваемся в повторяющиеся, как на пластинке, разговоры. Идем обратно к метро, вдыхая резкие запахи весны.

— ...В Израиль едут из-за детей, а у меня их нет и не будет...

Несколько коротких, внезапных, вроде бы, фраз. И вот уже ее жалкая, смятая, пролетевшая почти жизнь лежит передо мной.

Ей сорок девять, выглядит много моложе: так случается порой именно с теми женщинами, которые махнули на себя рукой. Черная резинка скрепляет пышные рыжие волосы. Ничуть не смущена она тем, что на синем плаще красуется масляное пятно, а серые туфли исцарапаны по бокам.

Она преподает в ПТУ какие-то технические дисциплины. В последние годы, сама замечая за собой несдержанность, все-таки выучилась контролировать себя на службе: молчать, выглядеть деловой и собранной. Однако это трудно давшееся искусство растаяло, точно и не было, в феврале. Да, в феврале девяностого, когда в Москве и других городах томительно ожидали погромов.

В те дни, думая исступленно об одном, она пол-урока однажды проговорила об антисемитизме. Класс смотрел на нее с недоумением. И, конечно, донесли директору. Тот вызвал ее к себе, морщился, выдавливая слова, но не попросил, как ждала она, заявления об увольнении — попросил «не отвлекаться на занятиях от темы».

У метро прощаемся. Зачем-то обмениваемся телефонами, хотя ясно, что не позвоним друг другу никогда. И вот она уже исчезает в потоке ног и локтей, в запахах пота и продуктовых сумок, в гуле той речи, которая пока еще так ненавистна ей и по которой потом не сможет разучиться тосковать.

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

Мокрый, уже с утра темноватый мартовский день. Гудящая — все та же — толпа. Она выплевывает одни и те же слова, точно шелуху от семечек: багаж... билеты... погром...

Как с неба, упало другое словцо: счастье.

Почудилось? Но и назавтра, и через день слышу завистливое: евреям хорошо сейчас!

Иногда утверждают это лишь интонацией, взглядом: русские, украинцы, грузины — все те, кого заносят сюда сладкие мечты об отъезде.

Ах, старый этот, с огромной бородой, анекдот! «Жена-еврейка: не роскошь, но средство передвижения». Слышали? Теперь за фиктивный брак по пять тысяч дают.

Все равно, конечно, вздрагиваю:

— Нам-то счастье...

На этот раз словцо, точно рахат-лукум, тает во рту молодого бакинского еврея. Улыбчив, польщен вниманием посторонних людей — они расспрашивают подробности бакинского погрома.

— Нам-то еще счастье... Дали армянам всего год сроку для выезда из Баку, а евреям — три. Русским? Пять...

Не знаю, так ли это. Скорее всего, сроки выдуманы молвой. Но думаю я не о том, а об его унижительной радости. Древние у нее корни: поднимается порой дух еврея, если оказывается он не самым презируемым, стоит не на последнем, но хотя бы так — на предпоследнем месте.

ТЕМ ЖЕ ДНЕМ — ЕЩЕ ВСТРЕЧА

Тоже двое бакинцев. Тоже молодые, более того — молодожены.

Издревле таинственный союз: армянин и еврейка. Соединившись, не побоялись они умножить вечную печаль своих народов.

Во время погрома скрывались неделю в азербайджанской семье, но все это слишком известно по рассказам беженцев,

чтобы описывать сейчас подробно: трепет от каждого звонка в дверь; духота кладовки, где прятались, теряясь в догадках; наконец, билеты на самолет («заплатили в шесть раз дороже!»); сейчас, в Москве, — у дальних-предальних родственников...

— Что было бы, если б вас поймали? — спрашивает кто-то.

Он пожимает плечами — не желает ни на кого взваливать тяжесть своих слов.

Она отвечает:

— Самое малое — отрезали бы уши... Тогда нам это постоянно снилось — из ночи в ночь.

Она смотрит в сторону, зато все соседи по очереди — на нее. Хрупкая, миниатюрная. Несмотря на неустроенный быт, волосы тщательно уложены. Она изящна в черных своих ворсистых брючках, в кожаных белых сапожках, в белой нейлоновой курточке. Все это, конечно, ради него. Не знает она, что похожа на своих библейских сестер — наивных девочек, которые вырастали в мудрых старух. Но знает, вижу, другое: счастливые ее глаза неуместны здесь, в этой толпе. Потому часто опускает веки, пытается скрыть то, что все же открыто любому внимательному взгляду: нежность, решимость перехитрить судьбу, спокойное ожидание горькой, как у всех нас, дороги.

1991-й, очередь у американского посольства

ДЕТАЛЬ

Как в двух словах нарисовать ее портрет? Грузна; пожалуй, даже величественна; давно ответила для себя на все вопросы жизни.

Именно такими и бывают часто старые еврейки.

Сейчас она твердит кому-то с глухой, непонятной озлобленностью:

— ... Нет, вы не знаете, какие хамы эти израильтяне! Вы и представить не можете... Они воспитали молодежь, с которой уж точно не построишь никакого будущего... Вы мне поверьте, мне достаточно только одной детали, чтобы увидеть целое.

Что сейчас для нее эта «деталь»?

Оказывается, концерт израильской самодеятельности, состоявшийся недавно в Вильнюсе. Если еще точнее — поцелуй двух юных артистов, мальчика и девочки. (В антракте они целовались «на глазах у всех» — сидя на скамейке, прямо у входа в зал).

Поговорив со старухой, я вполне понимаю ее раздражение.

Конечно, это обида на самое себя. Или на нелепость жизни? Вот уже три дня как она вместе с семьей сына подала документы в ОВИР.

1990, Вильнюс

ТОТ, КТО ОСТАЕТСЯ

Но многие из них останутся. Лучше сказать: это останется их страх. Страх, однажды поселившийся в душе, победить трудно.

Когда-то Моисей приказал евреям, живущим в Египте, немедленно покинуть свои дома и отправиться в путь. Из рабства. В Землю Обетованную.

Чем была вызвана спешка? Вовсе не тем, что Моисей боялся преследования фараона. Он знал о другой опасности: чуть промедлишь и — передумают сами евреи.

...С Моисеем ушли из Египта только около двадцати процентов наших предков. Большинство — остались.

СНЕГ В СУББОТУ

Сегодня пустынно здесь: суббота. Евреи сегодня должны думать о вечности, прогнав суету. На тротуар падает тихо снег. Прохожие редки, они не успевают — как в будни — превратить снег в хлюпающее месиво. Тепло. И милиционер у консульства не прячется в будку. Прохаживаясь у металлического барьера, он думает о своем.

Все же время от времени подходят люди. Прочитывают объявления на бетонной стене, которые странны именно тем, что стали теперь обычны: телефоны и адреса кооперативов упаковщиков, грузчиков, правила бронирования билетов, предложения о продаже и покупке квартир. Переписывают в блокнот необходимое, разбегаются — кто куда.

В полдень здесь надолго задержится старый еврей. Утренний поезд привез его из подмосковного городка. Ему сказали, что консульство работает ежедневно, и он, как почти все в России, забывший о законах еврейства, поверил. Не встретив никого, кроме милиционера, старик все не решается обратиться к нему. Наконец, спрашивает:

— Скажите, сегодня есть кто-нибудь из дипломатов Израиля?

— У них выходной... В субботу им не полагается заниматься делами... — роняет милиционер важно.

— Да, да, — переступает с ноги на ногу старик. И опять — неожиданно, преодолевая себя:

— Мне сказали, здесь можно оставить свои данные для вызова на постоянное жительство...

— Можно, — подтверждает милиционер. — Если хотите, дайте мне, я опущу конверт в специальный ящик.

Старик молчит: ну как доверить такое гою, тем более — милиционеру. Тот поставлен органами, собирает, конечно, информацию; однако что делать? Неужели приезжать снова? Он вопрошающе смотрит на милиционера. Тому едва ли больше двадцати, у него ясные глаза, пухлые детские щеки.

Я стою к ним спиной, лицом — к стене с объявлениями. Оба они не обращают на меня внимания. Наконец, оборачиваюсь. И вот уже бросается ко мне старик — с радостью. Он сразу оценил характерность моей иудейской внешности. И заранее приготовленный конверт дрожит в его руке:

— Посмотрите, пожалуйста... все ли верно?

Чуть прикрывает ладонью — и от снега, и от глаз милиционера. Я замечаю прежде всего год рождения: 1910. Вижу также: на листке — одна фамилия. «Значит, и едет один». А мысли старика сейчас — о другом. Интересуется у

милиционера процедурой оформления документов, отправкой багажа. Тот неожиданно оказывается в курсе всего (во время дежурств память, как магнитофон, зафиксировала однообразные разговоры людей). И почему-то теперь это не удивляет старика.

Так стоим, почти облепленные хлопьями снега. Потом старик идет разыскивать что-то в пустых магазинах. Медленно, без лишних движений, скользит по снегу допотопными своими ботами, которые когда-то, лет тридцать назад, помню, называли «прощай, молодость».

1989

ИСТИНА

Мне всегда интересны антисемиты — их судьбы, их с годами крепнущая ненависть, их жаркая правда, в которой по-своему (но совсем иначе, чем у евреев) перепутаны логические связи.

В прибалтийском Калининграде, на Ленинском проспекте, идет навстречу мне старая женщина. В обеих руках — тяжелые сумки, на голове — берет, спереди и сзади на старенькое пальто опускается большой вязаный шарф. (Обычные, наивные попытки интеллигенции скрыть вопиющую свою бедность).

Замечаю ее издали, вижу, как безжалостно бьет ноябрьский ветер маленькую фигурку.

Встретив мой взгляд, подходит ко мне. Остановившись, чуть опускает сумки и произносит, четко выговаривая слова:

— ...А все-таки во всем виноваты евреи!

Высказав эту — сокровенную для нее — истину, женщина неторопливо идет дальше.

1989, ноябрь

ФРАЗЫ

Приезжающие *оттуда* твердят в один голос: глазам своим не поверил, когда увидел: кругом — евреи. И я подтверждаю: чувство это ни с чем не сравнимо. Поверьте, дышишь по-другому! В буквальном смысле — там дышать легче. Ведь здесь мы так зажаты, скованы...

Кому принадлежат эти слова? Какая разница! Каждый раз их кто-нибудь да обронит в очереди. Кто-нибудь из тех, кто едет в Израиль во второй или в третий раз. Дама из Минска, воронежский парикмахер, пенсионер из Бельц...

Случается, однако, услышишь другое. С хохотком ли, серьезно ли:

— ...Хорошо в Израиле, да только слишком много евреев!

Фразы эти, в сущности, может произнести голос одного и того же человека. Конечно, в разное время, в настроении разном.

Попробуйте спросить: почему? Скорее всего, говоривший вам ничего не объяснит. И я сейчас промолчу: отвечать слишком долго. А задумавшись, вы и сами поймете, что сделали с нами два тысячелетия рассеяния.

1992, январь

КАРТА

Случайная, как почти всегда, встреча. Знакомимся с ним в одном московском доме, куда он приезжает прямо с вокзала, едва сойдя с саратовского поезда. У наших общих знакомых ждет его переданное с оказией письмо от израильских родственников. Ну, а там, в конверте, — легко догадаться: вызов «на постоянное жительство».

Я и сейчас хорошо вижу его. Вот сидит, развалившись в кресле-качалке: при неосторожном движении подсакивают резко вверх пыльные полуботинки на толстой подошве; мя-

тые брюки, коричневые синтетические носки. Он нерешителен и оттого развязен нередко. Ставит его в тупик даже простой вопрос:

— Вам кофе?

Он понимает: это жест вежливости (хозяева торопятся куда-то), однако отказаться не может — выпивает две чашки, опустошает тарелку с бутербродами («Извините, возьму еще один». — «Ну, конечно, конечно»).

Еще больше он говорит. Слова плотно облепляют его, точно скрывают важное. Хотя скрывать нечего, уже через несколько минут все ясно. Разумеется, не знает он, почему все-таки решил уезжать: «Логике это не поддается». Наконец-то — в сорок два — защитил диссертацию, дали в институте должность старшего научного сотрудника, строит дачу. «Антисемитизм, конечно, существует, но меня-то никто не трогал...»

Все это обычно, и я перестаю его слушать (не узнав ничего про родителей, с которыми он вместе живет).

Я слушаю песни Окуджавы, которые звучат из соседней — детской — комнаты, а смотрю на Б.

Можно было бы назвать его симпатичным, но рыжая густая борода совсем не идет ему, не вяжется с растерянным выражением глаз. Обычно борода придает лицу определенность, законченность какую-то, однако он — самое воплощение растерянности. Может, оттого и не уходит, засиживается до неприличия в гостях, что ждет инстинктивно подсказки...

Когда мы снова — случайно же — встречаемся на Большой Ордынке, Б. помят еще более. Живет в кооперативной гостинице (в комнате на четверых), несколько дней, видно, не принимал душ: в разрезе плаща проглядывает чистая рубашка, которую он достал из саратовского чемодана, но голова лоснится, а на воротнике плаща — перхоть.

У консульства он переходит нетерпеливо от группы к группе. А в глазах — все то же ожидание: кто-то — кто? — должен ответить на его сомнения.

Он рад встрече со мной (старый знакомый!) и вскоре приглашает перекусить в полуподвальном кафе. Мы идем туда долго: как всякий провинциал, Б. знает в Москве только несколько мест общепита. В кафе он водружает на поднос две порции сосисок, тарелку булочек, два стакана некрепкого, на сгущенке, кофе. И беспрестанно опять говорит, точно не желая прислушаться к голосу внутри себя, а, может быть, как раз заглушая тихий этот голос.

После сидим на скамейке. Он закуривает и достает из портфеля карту Израиля, которую купил у спекулянта. По-детски шевеля губами, повторяет вслух древние названия. Я думаю: миллионы людей с трепетом произносили в течение тысячелетий те же сочетания звуков, которые для него почти ирреальны.

Наконец он замолкает и смотрит куда-то вбок от меня.

1990

ТАЛАНТ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

«Надо выжить. А чтобы выжить, надо быть незаметным. Вот урок, который усваивает тот, кого часто бьют... Еврею нужно носить маску, впитывать язык, необходимо быть актером, чтобы выглядеть таким, как все вокруг».

*

«Жизнь в диаспоре подобна участи лицедея: она приводит к тому, что человек «срастается» со своей маской, забывая, как выглядит его собственное лицо».

Раввин Адин Штейнзальц

ВОПРОС

Плотно, надежно летний вечер покрывает собой суету дня. Но вот в комнату, запыхавшись, влетает с улицы четырехлетний малыш. Ему необходимо выяснить и — немедленно:

— Мама, мы действительно евреи?

— Да, — только и успеет ответить.

Тут же хочет она спокойно, с достоинством пояснить: евреи — народ, как любой другой, все нации равны... Но сначала погладит сына по голове, прижмет к себе! Мальчик, однако, резко вырвется и, кажется, отбросит не только руку матери, но и произнесенные ею фразы. Интуиция ребенка точнее любых слов. Он чувствует главное безошибочно. Разобрал это главное по интонациям услышанных во дворе анекдотов, отдельных реплик, смысл которых не понял. Но он не сомневается, что не ошибся. И — боится, боится! Сам не зная, чего.

Все же сын с надеждой заглянет ей в глаза:

— Мама, неужели нельзя ничего поправить? Совсем ничего?

Разговор этот она передаст мне через пятнадцать лет. Несколько месяцев назад. И теперь я постоянно приглядываюсь к нему: какие выводы сделал для себя, когда понял, что «ничего нельзя поправить»?

Выводы стары.

Мальчиком он, к примеру, поражал всех своей щедростью: еще ходил в старшую группу детского сада, когда начал раздавать все, что принято и не принято дарить. И дело не только в отзывчивости сердца: каждого встречного он хочет превратить в друга — во что бы то ни стало. И это ему удастся — удастся угадывать чужие слабости, входить легко в чужую жизнь. А два года назад он поступил на физический факультет университета и теперь уже делает серьезные доклады в студенческом научном обществе.

Формулирует ли он для себя свою надежду четко? Не знаю. Но угадываю ее: многочисленные друзья, научная карьер-

ера, а также карате, которым занимается с восьмого класса, помогут ему стать «не хуже других».

Раза два встречал его в кафе, в компании сверстников. Недолго, издали наблюдал — так, чтобы он не заметил меня, не смутился. Он был элегантен в обычной униформе моды тех лет — черной майке, брюках-«варенках». Был красив — все той же, одних раздражающей, других притягивающей красотой своего народа: матовая кожа, лучистые — серые, а временами голубые — глаза; смоляные, волнами волосы. Был раскован, весел, находил то и дело повод для шуток, однако, кажется, не был пошл.

Не странно? — спросил я себя. Ведь привык видеть его сосредоточенно погруженным во множество чужих и своих забот, тщательно отмечающим в маленьком блокноте исполнение ежедневного плана. Конечно, он всегда составляет этот план сам, давно и ни в чем не советуясь с родителями, которых, не сомневаюсь, нежно, но чуть снисходительно любит: будто обладает недоступным им знанием. Потому он иногда выглядит раньше времени постаревшим — точно придавлен серьезно и бесповоротностью будущего.

Впрочем, вспоминаю: когда звонит телефон, он первым поднимает трубку и часто преображается — кажется, резкий, зимний сибирский воздух врывается в двухкомнатную мало-метражку с низкими потолками. «Ну, так что там у нас?» — произносит бодро. Эти слова — невольный условный знак самому себе — знак, который должен вызвать точно такой же условный рефлекс.

Он отворачивается к стене и — чувствую это по голосу — становится веселым, легким, юным совсем человеком.

...Все-таки пока он еще такой разный, окончательно, до конца, не сформировавшийся.

Когда открывает мне дверь, я смотрю в его глаза: в них — неистребимая наша печаль, всегдашняя готовность евреев понять всех, со всем примириться, во всем найти свою правду.

Я жму ему руку и думаю: что он ответит когда-нибудь сыну на тот же старый вопрос?

ПЫЛЬ

Она пробовала учить дочку моих родственников музыке, но потом — недели через две — отказалась. Промолвила презрительно:

— Я не привыкла получать деньги даром, а здесь нет и намека на способности.

Все это не имеет теперь никакого значения. Девочка, которую мрачная сила родительского упрямства все же заставила выучиться играть на фортепьяно, давно стала взрослой и — Пантофель была права — выбрала другую профессию. Наконец, позади уже остались долгие, похожие друг на друга годы: они ломали, старили, они вроде бы незаметно, но всегда жестоко испытывали нас.

Мы жили в одном подъезде: наша семья — на пятом, она — на первом этаже. Почему однажды я напросился к ней в гости, а потом стал бывать у нее — не часто, но регулярно? По возрасту годился ей в сыновья. Общих интересов у нас не было. К тому же она встречала меня скорее неприветливо, чем радушно.

Сначала мне казалось: я прихожу к Пантофель из-за острого ее языка, не щадящего никого и ничто. Однако вернее другое: в самой интонации ее речи, в ее жестах, в воздухе ее маленькой квартирки я неосознанно, но очевидно различал тяжелое дыхание судьбы.

— Слушаю... Ах, это вы...

Пантофель недовольно бурчала в трубку и — неизменно приглашала в гости.

Только теперь начинаю понимать ту сумятицу чувств, что туманом окутывали ее. Она была рада мне, хотя и потом, при встрече, говорила с той же усмешкой, чуть цедя слова. Разумеется, рада: наконец-то могла прямо, безжалостно высказать свои утаенные мысли — те, делиться которыми с русскими знакомыми ей не позволяло достоинство.

— Евреи — это пыль, — с вызовом повторяла Пантофель.

Она ничуть не сомневалась, что ее утверждениям не нужны доказательства, но все же порой развивала свое сравнение:

— ...Вы не задумывались, почему их всюду ненавидят? А ведь все так просто! Народ, как и любой человек, имеет срок жизни и должен умирать вовремя, а не путаться под ногами у молодых. Евреи же... Они давным-давно отжили свое и теперь мешают всем: хитрят, подлаживаются, втираются, куда только можно... Ну как же надоела их извечная скорбь, их претензия на всезнание, предвидение: все уже было, было, было... А человек до всего должен доходить собственным умом! Мы не зря не любим тех стариков, что только предостерегают, наставляют. Вы-то, разумеется, знаете: у японцев это старицы раньше просто отводили в горы, на кладбище — подошел срок, пусть умирают там. И правильно!

Она энергично прерывала свой монолог; бывало, лишь махнет рукой: и так, мол, все ясно — «пыль, только пыль...»

Сидела передо мной прямо, как старая балерина, по привычке не позволяющая себе расслабиться в кресле. Поза Пантофель точно отражала суть ее странного существования. Иногда я думал: как и зачем она живет, если из всего, что когда-то беспокоило и терзало ее, осталась одна ненависть — чем-то еще согревающая ее ненависть к собственному народу.

Правда, помню, однажды Пантофель недоуменно спросила меня и — должно быть, в который раз — себя:

— Пыль... А что, собственно, такое пыль? Почему она возникает и, прежде всего, там, где живет человек? Не замечали: в комнате, из которой все выехали, пыли почти не бывает?

Об этих скрытых, а потому особенно сильных, будто сжатых пружиной молчания, чувствах Клары Пантофель никто не подозревал. Конечно, в музыкальной школе, где она до самой пенсии заведовала учебной частью, подметили: к ученикам и преподавателям — евреям — Пантофель особенно строга: не выискивает специально недостатки, однако никогда их не прощает. Думали, это обычная у евреев болезненная предусмотрительность: вдруг упрекнут в солидарности со «своими»?

Но я не сомневался: Клара Пантофель давно уже ничего не боялась.

Вспоминая о ней, вдруг замечаю, что невольно избегаю описаний. Например, описания ее однокомнатной квартиры, где все походило на районную поликлинику — было чисто, но без-

лико; или описания ее одежды, также лишенной индивидуальности; или того, как она неизменно угощала меня зеленым чаем: «Это полезно!»

Думаю сейчас о другом. Антисемитизм, встречающийся среди самих евреев, не так уж таинствен, непонятен, как порой кажется. Это протivoестественная, но вполне объяснимая реакция загнанного судьбой человека. Однажды он начинает ненавидеть соплеменников, которые якобы виноваты в его неудачах и несчастьях, а иногда — странно абстрагируясь — не может уже выносить самого себя.

Конечно, в основе антисемитизма Клары Пантофель тоже было отчаяние — сгустившееся в душе одного человека отчаяние нескольких поколений.

Она никогда ни на что не жаловалась. Только из многих наших разговоров (в сущности, случайно) я узнал о судьбе ее родных. Деда до революции растоптали погромщики в Кишиневе. Отца и мать забрали в тридцать седьмом как врагов народа (Клара в это время уже работала после окончания консерватории в Сибири).

Почему она не вышла замуж? Разумеется, никогда ее об этом не спрашивал, хотя еще на моей памяти она была довольно хороша собой. Но невозможно было представить кого-то рядом с Пантофель: все ее существо излучало отталкивающую, испепеляющую любого нормального человека энергию.

Таким образом ее вовсе не оригинальная теория вызревала медленно, в одиноких раздумьях. В мире все справедливо, рассуждала она; если уж сама жизнь выталкивает евреев, значит, они должны уйти.

Кто же у нее все-таки был?

Я знал, что иногда ее навещала бывшая ученица — всегда меланхоличная старая дева; та считала своим долгом «оказывать помощь», а Пантофель язвительно высмеивала ее печали.

Однажды летом я познакомился с сестрой Клары Михайловны, тоже уцелевшей в тридцать седьмом и в войну. Она вернулась из эвакуации в Минск, выучилась на инженера, имела сына и пьяницу-мужа, но радость жизни находила во всевозможных экскурсиях.

Клара Пантофель на всю жизнь осталась хрупким подростком. А сестра ее оказалась породистой шатенкой: она рассказывала мне о своих поездках, играя блестящими глазами, достав блокнот, где были аккуратно переписаны все ее маршруты. Так говорят о любви, не замечая банальности ситуации.

Через год любительница путешествий умерла от скоротечного рака. Сообщив об этом, Пантофель не плакала. Все ее мысли теперь занимал племянник. Тому исполнилось двадцать шесть; не помню, где он работал, но, помню, учился заочно в институте и собирался жениться.

— Только бы не взял в жены еврейку, — тоскливо заклинала Пантофель. — Наши внуки должны быть счастливы.

После смерти ее сестры мы встречались гораздо реже. Я подумал: наверное, эта смерть окончательно убедила Клару Михайловну в правоте ее жизненной философии.

— Простите, я занята, — и в телефонной трубке раздавался щелчок.

Как-то, придя к ней, сразу заметил перемену: она вся вдруг как бы подсохла, сморщилась. При этом судьба по-прежнему смеялась над Пантофель — теперь она походила на еврейку все больше и больше. Всегда сжатые тонкие губы обрамляли глубокие морщины — следы неизменной усмешки. Резко выделялись на лице глаза, форму которых принято сравнивать с миндалем.

Во время нашего разговора она — видимо, по привычке — страдальчески взглянула в зеркало. Я понял: она пугалась отражения. Она презирала собственное лицо.

И, наверное, потому почти перестала выходить на улицу.

Пантофель похоронили торопливо, как хоронят всех одиноких людей.

Когда мы возвращались с кладбища, ее племянника уже ждали представители домоуправления: надо быстрее освободить квартиру, туда должна заселиться мать-одиночка с двумя детьми, а вещи... их ведь можно пока перенести в пустующий, через несколько кварталов, сарай? Вряд ли это была только забота о несчастной женщине, скорее — опасение: как бы приезжий еврей не начал химичить, не попытался сам занять жилплощадь.

Через день я случайно увидел, как дворник и некий дюжий парень (видимо, друг новой жилицы) перетаскивали скарб Пантофель. Они решили составить все у подъезда, чтобы потом, разом погрузить вещи в машину.

Разворачиваясь, грузовик переехал кресло, в котором так любила сидеть покойная. Кресло разлетелось на несколько частей, пружины резко распрямились и вытолкнули из темного чрева охапки скатавшейся пыли.

ВЕРСИЯ

Они притягивали меня своей загадкой еще тогда, раньше, когда его официальная биография была совсем уж скупа. Обычные еврейские глаза за большими стеклами очков.

Потом, после «перестройки», стали появляться странные подробности — в основном в желтой прессе, в газетах русских «патриотов». Но, впрочем, и в солидных изданиях. Дескать, фамилия его матери — Флекенштейн; рано умерший отец, кажется, тоже был евреем.

Серьезные люди в это не верили. Ну, скажите — как, каким образом еврей мог оказаться во главе КГБ, а потом стать руководителем антисемитского государства? И это — в эпоху строжайшей проверки анкет. Да и доводы очень шатки. Вот мать: известно ведь — ее просто удочерила еврейская семья.

Однако я поверил в это сразу. Не в том дело, что знал: еврейские семьи до революции не могли усыновить или удочерить ребенка, если тот не приходился им родственником. (Такова была традиция, объяснять которую сейчас — не к месту).

Меня убедили другие детали, одиноко и жестко торчащие из благостных воспоминаний о нем.

Как тщательно заметал он любые следы, ведущие в его детство, юность, молодость...

Направленный на работу в Петрозаводск и мечтающий о большой карьере, решительно и навсегда оставит в Ярославле первую семью. Хотя совсем недавно, своей рукой, вывел на обороте супружеского фотоснимка признание, похожее на стихи: *«Если Вам когда-нибудь будет скучно, если Вы хоть на минуту почувствуете себя несчастными, то взгляните на эту фото-*

графию и вспомните, что в мире существуют два счастливых существа. Счастье — заразительно. Оно вместе с воздухом проникает к нам в душу и в одно мгновение может сделать то, что не в состоянии сделать годы».

Что потом проникло в его душу? В чем нашел счастье? Никогда больше не видел жену. С сыном и дочерью встретился только в старости, да и то не по своей инициативе.

Директор детдома, где он рос и где им так гордились, однажды передаст ему привет — на провинциальной партконференции, через его же, командированного туда, сотрудника. Тот имел глупость донести теплые слова до адресата. И на несколько лет был удален от шефа.

...Я думаю сейчас не о той, известной, его жестокости, которая была даже предопределена должностью. Я думаю о его жестокости по отношению к себе. О бессонных ночах. О том, как с оглядкой на разоблачение просчитывал каждый шаг. О том, как сам с подозрением вглядывался в собственные фотографии.

Хотел ли он когда-нибудь сделать пластическую операцию? Допытывался ли у врачей: в какой степени специальные контактные линзы могут изменить выражение глаз?

2004

ЗНАК СМЕРТИ НА ЛИНИИ ЖИЗНИ

Еврейские мудрецы не раз замечали: лицо отражает суть человека. Мысль, ставшая теперь почти обиходной, не так проста. Не однажды встречал я людей, которые, отважно сравнивая собственную внешность с внутренним самоощущением, мучительно не находили сходства. Или безнадежно убегали от своего лица.

...Лет семь тому назад в Чикаго, в магазине «Русская книга», со мной поздоровалась красивая немолодая женщина. Разумеется, я ответил. Но она тут же догадалась: я не узнал ее.

— Меня зовут Лея... Вспомните: начало семидесятых... Кемерово... библиотека...

Я вспомнил ее сразу, точно молния мелькнула перед глазами, прочистив мутноватые картины прошлого. В Сибири ев-

реев встретишь нечасто. Вот почему еще они резко выделяются в людском потоке — то как драгоценные камни, то как уродливая пародия на самих себя (если вконец измучены вечными страхами). Моя соплеменница из библиотеки вовсе не выглядела очаровательной, однако чем-то притягивала к себе. Одновременно я чувствовал исходящий от нее странный, даже пугающий холод.

Предвосхищая горькую еврейскую историю, я не раз хотел поближе познакомиться с ней. Но мы только вежливо и с каким-то особым значением здоровались. А потом я навсегда уехал из Сибири.

— ...Знаю о вас многое, читала ваши книги. Хотите, расскажу вам о себе? — вдруг сказала она теперь, — Нет, не сейчас, конечно. Если позволите, приду к вам на днях в редакцию. В Чикаго мы с мужем в гостях — пробудем здесь неделю.

И она действительно пришла. Было хмурое февральское утро. С неба сыпалась колючая крупа — ядра обледеневшего, злого снега. Но лицо женщины было безмятежно ясным. Она загадочно улыбнулась мне — как когда-то в Сибири. Только сейчас холода в ней самой не было и в помине.

— Очень рад... Можно я пристрою на вешалку ваше пальто?

Легким и естественным для себя жестом она подала мне меховое мантио, села в кресло, согласилась выпить кофе. Она начала свою исповедь без предисловий — словно угадала когда-то и помнила все эти годы мой особый интерес к ней. Потом я записал ее рассказ, стараясь быть по возможности точным.

*

— ...Не смущайтесь, что не сразу узнали меня. Это неудивительно. В ту пору, когда мы с вами встречались в Сибири, я была другой — хрупкой тридцатилетней брюнеткой. Теперь я блондинка. И мне за шестьдесят... Только не делайте протестующих жестов. Я совсем не стесняюсь своего возраста. Напротив. Хотите, сейчас объясню вам, почему?

Я была тогда хрупкой не от природы — от смутного, но бесспорного для себя сознания неуместности собственного тела. Я легко забывала про еду. Казалось: она совсем не нужна мне. С отрочества я сутулилась, скрывая от посторонних глаз свою грудь. Когда стала взрослой, одевалась, вроде бы, модно,

но платья выбирала неярких расцветок и на размер больше — платья тоже укрывали меня от всех. Невозможно было только скрыть лицо. Именно оно обнажало меня. Случайно натыкаясь на зеркало, я не раз внезапно и как бы со стороны видела себя: большие глаза, в которых застыл испуг, нежная кожа, черные, густые — в нервных завитках — волосы.

Я служила в том отделе библиотеки, где обрабатывают новые книги и где читателей никогда не бывает. Таким образом, круг моего общения на работе был резко ограничен. И я была рада этому. Считалось, что в библиотеке меня любят. Однако то было другое чувство: доброжелательное равнодушие. Доброжелательность возникла потому, что все понимали: я независлива, некорыстна.

Скорее, завидовать должны были мне, но, глядя на меня, это тоже никому не приходило в голову. А у меня был муж — преуспевающий конструктор, к тому же — обаятельный, высокий, с пышными пшеничными усами. Была дочь: как и отец, она весело старалась поспеть всюду — в общеобразовательной и спортивной школах, и даже — нередко — на кухне. А жили мы в трехкомнатной кооперативной квартире.

Всем была непонятна моя вечная меланхолия. Но, в конце концов, к ней привыкли.

Мало подходя друг другу, мы с мужем, как ни странно, жили тогда неплохо. Я никогда от него ничего не требовала. К примеру, не требовала отдавать зарплату, не запрещала бражничать с товарищами. Однако, может быть, именно потому он выпивал только по праздникам и аккуратно, дважды в месяц, клал деньги в коробку из-под печенья, которая стояла в кухонном шкафчике.

Мы взрослые люди, так что простите мне признание: ночами его ласки были такими же, как после свадьбы — чуть удивленными. Он сам однажды сказал мне: «Мы прожили вместе уже двенадцать лет, но, кажется, я до сих пор узнал тебя не всю». Он смутно ощущал тайну, какую-то недоговоренность между нами. Конечно, он не мог это чувство выразить словами: какие, собственно, секреты могли быть у меня от него, моего первого и единственного мужчины?

Однако тайна, действительно, существовала. Я знала, что в тридцать пять лет умру.

— ...Мне сказала об этом гадалка.

Я училась тогда в Ленинграде, в институте культуры.

Началась как раз сессия, мы с подружкой торопились на экзамен. Цыганка остановила нас извечным вопросом:

— Скажите, милые, который час?

Я слышала: это обычный прием уличных гадалок — разговор завести, увлечь, а потом обмануть, выманить деньги. Но все равно взглянула на часы:

— Пятнадцать минут второго.

Цыганка придвинулась еще, уверенной скороговоркой выпалила:

— Красавицы, давайте погадаю, всю правду скажу.

Подруга отпрянула:

— Не надо, не надо... Мы все про себя знаем сами.

Но я, как завороченная, протянула руку.

— Пойдем, пойдем, красавица...

Гадалка повела меня за угол розового шестиэтажного дома. Толстая, подвижная, с хриплым твердым голосом, она уже существовала без возраста — ей можно было дать и пятьдесят, и семьдесят лет.

Сначала делала все машинально, заученно, даже не вдумываясь в смысл жестов и слов. Взяла мою руку в свою — унизанную перстнями, горячую и шершавую. Распрямила ладонь, поднесла к глазам:

— Всю правду скажу...

Да так и замолчала. А я стояла, сделав «нейтральное» лицо — чтобы не показаться смешной возможным прохожим, однако, чтобы не обидеть и гадалку. Смотрела спокойно на капельки пота, которые застыли у цыганки на подбородке, в седой редкой поросли.

Правду услышала неожиданно:

— У тебя, милая, горе было... Большое... Все люди одного с тобой корня сгинули.

Она так и выразилась — «сгинули». Подняла тяжелые веки, посмотрела мне прямо в глаза и — снова на ладонь: наверное, искала там, чем утешить.

— Будет у тебя муж, будет ребенок...

Замолчала, мелькнули белки глаз:

— Где погибли твои?

Я назвала райцентр в Белоруссии...

— Знаю, — кивнула гадалка.

Может, и в самом деле она знала то место — цыгане ко-
чуют всюду.

Опять деловито рассматривала мою ладонь. Наконец, вы-
молвила:

— Ладно уж, скажу тебе все до конца, дэвочка. Тебе
судьба была умереть с ними, но для тебя вышла отсрочка.
Вот она, твоя смерть — в тридцать пять лет. Мы такую прав-
ду редко открываем... Пожалела я тебя. Береги... береги то,
что осталось.

Она взяла пять рублей, которые я машинально достала из
сумочки (между прочим, большие для меня в то время деньги),
засунула бумажку куда-то в мутную глубину своей цветастой с
оборками юбки и вздохнула:

— Нас, дэвочка, ведь тоже стреляли и жгли...

Когда я подошла к подруге, та засмеялась:

— Ну что, скоро свадьбу справляем?

Ответила похожей шуткой:

— Жених уже ждет меня.

Целый день я была не в себе. Но растерянность эту все
отнесли за счет волнения перед экзаменом. И все-таки днем я
по-настоящему не придавала значения гаданию, не впустила в
себя глубоко слова цыганки с точным сроком смерти.

После экзамена отправились с подругой в кино, смотрели
во второй раз «Весну на Заречной улице». В общезитии потом
с удовольствием пила чай с халвой. Но ночью я не могла за-
снуть. Дело было даже не в самом предсказании, которому со-
противлялись моя молодость и двадцатилетнее, стремящееся
к жизни тело. Цыганка выразила то, что я сама давно знала,
чувствовала: существование мое несправедливо. Именно так:
несправедливо по отношению к погибшим родителям, сест-
ренкам, бабушке.

— ...И без того я была застенчива, даже нелюдима. А теперь, придя из института, сразу ложилась в постель, отворачивалась к стене и смотрела — будто и впрямь — сквозь нее.

«Голова болит!» — это подругам, чтобы не приставали с расспросами.

В те дни я мысленно множество раз пыталась отправиться в наш городок. Но из этого ничего не вышло. Тяжелая пелена плотно закрывала ту, пропавшую навсегда жизнь. Только по давним рассказам тети я могла кое-что представить. Но в общих чертах. Без деталей.

Отец работал директором типографии. Там же, при типографии, мы и жили. В пристройке из трех смежных комнат-шек. В одной — родители, в другой — бабушка с самой младшей из нас, полуторагодовалой Берточкой, в третьей — я и старшая сестра Белла.

Еще я помнила кусок улицы, двор, две скамейки, куда рабочие выходили перекурить, да по-своему редкий запах типографской краски.

Мне только исполнилось три года, когда в начале мая, в сорок первом, меня отправили со знакомыми в Новосибирск — к сестре матери, тоже Лее. Тетя была не замужем, тосковала и в каждом письме просила: пусть ей хоть ненадолго — на лето — пришлют погостить тезку.

Больше я в свой городок не вернулась. Некуда уже было возвращаться. И не было сил. После войны, написав бывшим соседям, мы с тетей узнали, какая смерть выпала каждому. Отец погиб в партизанке (так почему-то говорили о партизанских отрядах). А маму, бабушку, сестренку расстреляли поздней осенью все того же сорок первого.

— ...Это продолжалось две недели. Потом отпустило. Я перестала укладываться днем в кровать — жила как раньше.

Знаете, неожиданно я похорошела. Похудела, в глазах — по-прежнему печаль, но черты лица приобрели законченность и резкость: обычно к женщинам это приходит на десять-пятнадцать лет позже.

Я будто и в самом деле стала жить вместо своих близких. Проявлялось это иногда в мелочах. Белла — старшая сестрен-

ка — любила балет (хотя и видела всего два спектакля — когда приезжала с родителями в Ленинград). И вот осенью зачастила я в Мариинку — правдами и неправдами доставая билеты.

Берточка — младшенькая — готова была отдать все на свете за монпасье; даже болея, глотала безропотно любую микстуру, получив разноцветную горстку леденцов. Эта деталь случайно пробилась ко мне сквозь годы. Дешевые те конфеты я предпочитала теперь всем остальным.

Однажды, взглянув в зеркало, отпрянула: там была мама — еще молодая, но уже родившая трех дочерей, всегда невыспавшаяся, с кругами под глазами; однако, как уверяла теть, своей застенчивой улыбкой она могла очаровать любого.

Люди вдруг потянулись ко мне. Парни — те немногие, что учились на нашем факультете — старались попадаться мне на глаза, звали в кино и на танцы. Девчонки секретами делились, советовались, если что-то шили: «У тебя, Лея, хороший вкус». Некоторые, как потом муж, чувствовали мою тайну. Так чувствуют иногда чужую смерть или внезапную, не ясную еще опасность. А тайны притягивают — все мы любим разгадывать их.

На одной вечеринке я познакомилась со своим будущим мужем... Уже готовясь к свадьбе, знала, что не люблю его. Но ведь я не любила и никого другого. Приговор был вынесен. Надо было спешить жить.

Впрочем, в Валере мне многое нравилось. Прежде всего то, чего не было во мне самой. Притягивала его победная, веселая уверенность — в себе и жизни. Эта черта его, кажется, гипнотизировала и других. Потому ему все и всегда удавалось. Кстати, будь муж иным — мятущимся, неуверенным, беззащитным перед обстоятельствами и людьми — я рано или поздно обо всем бы ему рассказала.

— ...Моя жизнь шла как бы помимо меня. После института уехали в Кузбасс. Вскоре родилась дочка. Года через два внезапно, от инфаркта, умерла тетя. А мне надо было только ждать.

— ...Когда до названного цыганкой срока осталось около года, я узнала: муж мне изменяет. Я не удивилась, не рассердилась даже: восприняла все с пониманием — будто шла речь о чужом человеке.

Узнала об измене, как всегда, случайно. Пришла в библиотеку в один из дней, когда была в отпуске. Дверь в отдел приоткрыта, поняла сразу, о ком и о чем речь. Мой Валера, оказывается, давно уже похаживал к Нине Залыгиной, тоже работавшей в их НИИ. Я ее прекрасно знала. Нина всегда вызывала у меня симпатию: красивая, незамужняя, бойкая на язык, но вела себя с мужчинами строго, на шею им не вешалась. Была хорошей хозяйкой и портнихой, однако не выпячивала своих достоинств. Я все взвесила моментально: им будет хорошо вместе — потом. Но больше всего рада была за дочку — теперь не страшно ее покинуть.

Уже с полгода Валера появлялся дома поздно — когда мы с Юленькой видели первые сны. Чтобы не будить меня, он ложился на диван. Временами по утрам объяснял: готовят срочно большой проект, надо поднажать; как всегда, был естествен и весел.

Почему он не развелся со мной? Конечно, жалел дочку. Наверное, жалел и меня. Но я сама задумалась тогда о разводе — так было бы честнее. В конце концов отбросила эту мысль: не хотелось ничего менять. Не хотелось травмировать дочь. Да и ждать-то уж было недолго.

— ... К тому времени я совсем забросила Валеру, даже готовить стала редко: все, что только можно, переложила на тринадцатилетнюю дочь. Муж давно ходил на работу в одном и том же коричневом свитерке. Почувствовав вдруг вину перед ним, я выстирала и перегладила все его рубашки, пришила пуговицы. Валера ничего не сказал, но понял меня так, как и должен был понять мужчина: вернулся с работы раньше, купил к ужину бутылку хорошего вина. Я свою рюмку отодвинула, он выпил сам, сказав простенький тост нашей юности: «За тебя и за нас!» Лег спать со мной, был настойчив и очень нежен. Я не оттолкнула его — все по той

же причине: не хотелось делать резкие движения, громко говорить, что-то выяснять. Но на следующий день, сославшись на нездоровье и виновато улыбнувшись ему, сама перешла на диван.

У нас с мужем возникли непонятные, на первый взгляд, отношения — я не поверила бы раньше, что такое возможно. Он чувствовал: мне плохо. И знал, что не в состоянии помочь. Возвращался теперь поздно лишь раза два в неделю. В остальные вечера находил занятия дома, даже готовил. Я не только словами, но и в мыслях не упрекала Валеру: ясно, что здоровому мужчине нужна женщина. Когда он бывал дома, я чаще всего просто лежала на диване, ласково смотрела на него и дочку, но была словно в оцепенении. И еще тихо радовалась: муж ни о чем не спрашивал.

— ...Наконец, в феврале (да, это мой любимый месяц!) мне исполнилось тридцать пять. Гостей звать наотрез отказалась. Валера принес огромный букет роз. Я приготовила салаты, заливное, стушила жаркое (как вы помните, мяса в магазинах тогда не было, но муж без особых усилий доставал любые продукты). Мне хотелось, чтобы этот день запомнился им. Весело не было — у нас никогда не бывало веселья. Но было спокойно, уютно: рассматривали фотографии из семейного альбома, даже потанцевали втроем. А я — извините, что повторяюсь — весь вечер думала не о себе: о дочке, о ее будущих воспоминаниях.

Успокоенной встала и утром. Отнесла в библиотеку конфеты, магазинный торт, выслушала шуточные поздравления, сама тоже шутила, чем, конечно, удивила всех. И опять: почему-то жило во мне чувство наконец исполненного долга.

— ...В апреле я в последний раз видела во сне родителей... Было воскресенье, типография не работала. Вся наша семья (и я в том числе) вышла во двор. Сидели за большим столом, накрытым клетчатой потертой клеенкой. Мама разожгла самовар. Пили чай, ели бабушкины пироги — с яблоками и творогом. Я, трехлетняя, восседала на высоком стуле и свободно дотягива-

лась до всего сама, цедила, как старушка, чай из блюдца. Берточку держала на руках бабушка, отламывала ей крошечные кусочки пирога. Потом отец и мать пели дуэтом, почему-то не глядя друг на друга. Песни были еврейские, белорусские, старинные русские романсы. Некоторые я раньше никогда не слышала, но вот что удивительно: проснувшись, могла повторить слова. Сидели на улице до сумерек. Наконец, все ушли в дом, кроме меня и мамы. Я вдруг стала взрослой, по возрасту такой же, как мама. Она подошла ко мне, нежно погладила по голове, коснулась щеки (я и сейчас, кажется, чувствую ее огрубевшую от стирки руку): «Бедненькая моя!» И добавила: «Живи, дочка!»

— ...Больше я тех снов не видела. А недели через три перестала их ждать.

Что было со мной дальше? Обычное: я подчинилась опять течению жизни. И стала другой, хотя часто вспоминаю, как бы возвращаю для себя годы, когда у меня была тайна. Мужу я так ничего и не рассказала. Правда, теперь мне кажется: он сам догадался... пусть не обо всем, но о чем-то главном. Например, о цели моего ожидания. Знаете, я все чаще подмечаю: Валера вдруг отвечает на вопрос, который я задала лишь мысленно. Или — смеясь — с полуслова продолжает начатую мной фразу.

Как всегда, я не ждала от жизни ничего хорошего, но как-то сам по себе сложился счастливый послеперестроечный сюжет: Юленька окончила в Москве знаменитый институт имени Баумана, влюбилась, скоропалительно, однако удачно вышла замуж за русского американца, потом и мы отправились вслед за ней в США, в Бостон. Валере и здесь повезло — устраиваясь на работу, он на первом же интервью с улыбкой доказал своему будущему хозяину, что должен работать в его фирме. Мне — с советским библиотечным образованием — делать было нечего. Нехотя, почти по инерции, я организовала русскую воскресную школу. И знаете, это оказался прекрасный бизнес. Может быть, потому, что я делаю то, что мне самой стало интересным. Пригласила работать в школу скучающих — увы, никому не нужных здесь — бывших вузовских профессоров и доцентов, режиссеров, артистов, художников.

А преподаем мы не только русский язык и литературу, но также историю русской культуры, религии, живописи, правила этикета, многие, в том числе древние, языки. О нас пошла возторженная молва — по-моему, вполне справедливая...

Простите, я отвлеклась, говорю сейчас не о том. Не о том, что вы от меня ждете и что по-настоящему волнует меня. Я так ведь и не поняла: ошиблась ли тогда гадалка? Скорее всего — ошиблась я. Известно, у каждого на ладони есть линия жизни. Любая религия, иудаизм в том числе, поведают вам о предначертанности судьбы, о неясной нам самим — до самого конца, до последнего дыхания — нашей миссии в этом мире. И одновременно — каждому дана свобода воли... Человек — что бы ни случилось — не может и не должен подводить окончательные итоги жизни. Знаете, недавно совсем я услышала перевод одного стихотворения поэта Гирша Глика, ставшего гимном еврейских партизан. Две строчки меня поразили, точно обожгли: «Никогда не говори, что ты идешь в последний путь». Языка идиш я, как и большинство российских евреев, не знаю, но вот же припомнила, словно из детства эхо донеслось: «глик» значит «счастье». Скажите, вам что-нибудь известно о судьбе автора?

Я кивнул головой. А потом добавил, что поэт, избравший для себя такой многозначительный псевдоним, был узником Вильнюсского гетто, затем — концентрационного лагеря в Эстонии. Он погиб при побеге — кажется, в августе сорок четвертого.

ПОСЛЕВКУСИЕ СНА

Ну, зачем, зачем вам нужны мои сны? — настойчиво убеждает меня старческий голос.

Тут и я спрашиваю себя: зачем?

*

Отдельные листы, листочки, иногда — несколько слов на магазинном чеке, врачебном рецепте... Записи снов. Кое-что уже не помню и недоверчиво перечитываю по несколько раз.

*

Правда, когда-то думал: это будет огромный архив, а в нем — тысячи снов.

Почему я сначала мечтаю создать такой архив (около двадцати лет назад), а потом охлаждаю к этой идее?

*

Оказалось, далеко не все сны увлекательны. Напротив, многие на редкость скучны.

А самое интересное для меня сейчас — «послевкусие сна». Оно возникает у человека, вспоминающего сновидение. Стремящегося во что бы то ни стало к разгадке.

ВОРОНЫ

На снежном поле, сразу за своим домом (там, где хотели когда-то возводить очередную пятиэтажку, да так и не начали), он увидел стаю ворон. Сначала со свойственным ему нудным педантизмом решил сосчитать их, но сбился. И был очень удивлен этим. Вороны кричали истошно, почти невыносимо.

Тут он проснулся.

Тем летним утром, делая за завтраком любимый свой бутерброд (хлеб, масло, творог, сверху — повидло), он услышал по радио: на Ближнем Востоке началась война.

Тогда он был начальником планового отдела треста, не зря почти всерьез называл себя «нужным евреем» (его, действительно, не трогали ни при каких реорганизациях), обо всем и всех судил не просто безоговорочно — с резким, для многих неприятным апломбом.

Была у него тогда и семья: жена, дочь (между прочим, родные дали ему по-своему редкое прозвище — коммунист; бывая в их доме, я не раз слышал такое обращение к отцу и мужу: «Коммунист, иди сюда!»)

Жена давно умерла, дочь зачем-то уехала на север. А сам он теперь старик: встречая незнакомых людей, вглядывается в их лица с непонятым испугом, который тут же пытается спрятать.

Многое в его жизни потерялось за ненадобностью, однако тот — в четверть века давности — сон хранится все еще в глубинах его существа и чем-то постоянно тревожит, как бы царапает память.

*

Рассказывая мне этот сон, сам В. соединяет его с ближневосточным конфликтом. Считает: это было предчувствие. И опять удивляется: почему? Ведь в Израиле никогда не был, никогда не имел там ни родных, ни друзей, да и страна эта вызывала у него только устойчивое раздражение.

Когда-то на собрании он коротко, но веско обличал сионизм. Причем, делал это без всякой подсказки начальства. А дома говорил близким — тем же своим скрипучим голосом:

— ...Воюют, удовлетворяют амбиции, а нас тут из-за них ненавидят.

Сколько искренней боли растворилось, навсегда перегорело в этих его словах.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Свои сны она решается рассказать мне в кафе. До этого мы бродим по мокрым улочкам литовского курорта Друскининкай — поздней, с хрипыми ветрами осенью.

За сорок минут до закрытия входим в пустую кондитерскую.

Несу от стойки мороженое и кофе (от торта она отказывается — «диета»).

И вот сидим напротив друг друга. Замечаю вдруг, что нависшая тишина ничуть не тягостна с ней. Она раскалывает ложечкой белую горку. Без жеманства, по-детски наслаждается сладкими комочками.

Ну, конечно, обаятельной ее делает именно отсутствие лукавства.

Днем еще призналась: сейчас только, перед отъездом в Америку, может быть откровенна с посторонним человеком. Пусть и раньше никому не лгала, но никому — никому! — «не хотела давать лишнюю информацию о себе».

Впрочем, она осознает закономерность в моем интересе к сновидениям евреев. Убеждаюсь в этом вскоре. Перебрав в цепкой своей памяти разные сны собственной тридцатипятилетней жизни, она отбрасывает их один за другим. Потом задумывается. И — неожиданно — все с той же улыбкой:

— Можно я расскажу... нет, не сон... одно свое пробуждение? Знаете, мне сейчас показалось: это утро повлияло на всю мою жизнь. Ко мне пришла тогда редкая ясность — такая бывает именно после сна! И, может быть, тогда я сумела решить самый больной вопрос своего существования. Вы улыбаетесь? Удивлены? Удивитесь сейчас еще больше: мне было всего семь лет!

Она молчит, проверяет:

— Ну да, я не ошибаюсь: шел шестьдесят пятый год. Лето, раннее утро. Я просыпаюсь сама — без звонка будильника. Наступили каникулы, мне не надо торопиться в школу. Комната залита солнцем, и я вижу перед собой соседний дом, где уже открываются окна, слышу с улицы редкие, но все какие-то бодрые голоса. И сама — физически, телом — ощущаю легкость. Между прочим, потом я часто вспоминала это состояние, даже пыталась вернуть его — во время занятий йогой... А тогда подумала: какое счастье, что я живу в Советской стране! Вы улыбаетесь снова? Но, представьте, такими именно и были мои мысли. Однако тут же почувствовала: что-то мешает этой радости, моему — как в те годы любили выражаться — светлomu завтрашнему дню. Сосредоточилась и — вспомнила: я еврейка! Где-то в подсознании, наверное, возникло решение: надо это преодолеть!

Не спрашиваю ее ни о чем. Вдруг замолчит привычно? Но, наверное, мы думаем с ней об одном — вся ее последующая жизнь и была преодолением.

Странные ее поступки выстраиваются сейчас для меня — один к другому: рано вышла замуж за еврея с русской фамилией и славянской внешностью, изучала зачем-то систему Станиславского, потом — йогу...

Она смотрит на меня, чуть прищурившись:

— Это был марафон — бегство от детских страхов. И пустая цель: переделать свою природу. Но ничего, ничего... К себе я еще вернусь. Я ведь еще молода, правда?

Веселы в полумраке ее глаза, в которых все же трудно прочесть будущее.

МОТИВ ПОГОНИ

Жду повторяющихся снов. В них — нередко — пророчество. И — всегда — метафора чьей-то судьбы.

Типичный сюжет. И повторяется часто. Так часто, что я уже не записываю его полностью: только новые детали и повороты.

С двадцати пяти до тридцати лет мне снилось все одно: за мной гонятся! И хотят не просто избить — уничтожить! Лица преследователей я легко узнаю и сейчас, если встречу где-нибудь. Они были всегда одни и те же. А я убегал! Спасался, правда, лишь в самый последний момент, когда, кажется, не было уже надежды.

Никому о тех снах не говорил. Но удивительно: то же самое — про меня! — снилось не раз моей приятельнице... Да, вы угадали: у нас была с ней недолгая любовь, которая без всякой драмы, я бы сказал, счастливо перешла в дружбу. Так вот, сначала и она мне ничего не рассказывала, но потом однажды призналась: «Я боюсь за тебя!»

...В том сне мы пришли с ней вечером в ресторан — маленький, с претензией на моду, плохо освещенный подвальчик. Сделали заказ, еще не успели принести, как моя еврейская физиономия привлекла внимание. И кто-то громко сказал: «Раньше их распинали и — правильно!»

Моя приятельница была находчивой. И тут схитрила — шуточками, кокетством сумела оттянуть время.

Потом мы убежали — переулками, прячась, в основном, в подъездах. У одного из преследователей был в руке нож.

Спаслись чудом — как всегда в моих снах.

Между прочим, подруга моя (она — украинка) раньше — когда мы только познакомились — говорила снисходительно, что евреи, мол, преувеличивают антисемитизм.

Потом мы с ней уже никогда не обсуждали эту тему. Мне неловко было — вроде, принижаю себя этим. А она стеснялась, наверное, жалеть меня.

Почему появились наши сны-близнецы? Что они значили? Не знаю. В моей жизни в ту пору было все хорошо: рядом со мной — жена, сынишка и та подруга... Жили одной семьей. И, казалось, все были счастливы.

ОДНА СТРОКА

Какая чепуха снится людям! Представьте: видел сегодня во сне только что полученное письмо, точнее даже — конверт. Еще не распечатанный. Он возник передо мной крупно, словно на экране... Да нет же: больше ничего там не было. Вчитался.

Письмо из Самарканда, от знакомой, с которой и переписываемся-то редко. Но, представьте, я сразу узнал почерк — такие прыгающие, отдельно друг от друга стоящие, крупные буквы. И почему-то приписку она сделала прямо на конверте — сверху, над самым адресом: «Любит ли Вас Дора?»

Он замолкает. А потом вдруг резко глотает ртом воздух.

Я ищу в карманах его потертого замшевого пиджака — среди ключей, монет, карамелек — коробочку с валидолом. И, как всегда, обходится.

Вот уже два месяца (весной 1986 года. — Е.Ц.) мы живем с ним вместе в Доме творчества писателей — в Голицыно, под Москвой. Признаюсь, его еврейскую фамилию, как и русский псевдоним, я впервые услышал только здесь. Совсем не стремясь к близкому знакомству, все же за это время узнал о нем немало: в тридцатые годы он писал «производственные повести», в сороковые-пятидесятые перешел на очерки о «героях пятилетки». Теперь — лет двадцать уже — молчит, на мемуары настраивается. Но, понятно, растрчивает пыл впустую — в суетливых разговорах с такими же стариками: то на прогулке, то в телевизионной комнате.

*

Некоторое время сижу с ним рядом, жду: не повторится ли приступ? Смотрю сбоку на его безволосый череп, на вылинявшие, смешно и одновременно трагически сжатые губы.

Невольно я тоже начинаю размышлять об этой ненужной строке на конверте. Да, так иногда поступают старики или дети, позабыв сообщить о чем-то важном в самом письме. Чепуха, конечно. Но вот схватило же у него сердце.

А Дора? Это его жена. «Единственное, — так он сам выразился, — светлое пятно в океане фальши». Она умерла шесть лет назад.

У ОЗЕРА

Идем вдоль озера. Она кормит лебедей хлебом.

— Как хорошо здесь! — И жадно втягивает воздух. — Как хорошо... — И летит в воду серый хлебный мякиш.

Я поотстал слегка. Она это чувствует и, пожалуй, себе самой неожиданно отвечает после очередного «как хорошо»:

— ...Но лучше всего перестать видеть сны.

Смотрю на нее вопросительно. Она уже остановилась. Раскладывает маленький складной стульчик, который на прогулках носит за собой всюду. Из-под капюшона зеленой, похожей на охотничью, куртки выбились пряди крашенных в какой-то неестественный — желтый — цвет волос. Она улыбается мне серыми маленькими глазками, покрытыми сетью красных прожилок, достает из большой, точно рюкзак, сумки пачку «примы», затягивается.

Она добра, даже сентиментальна, но уж очень трудна в общении: то излишне откровенна со всеми, то замыкается в себе — в ответ на вопросы хмуро бурчит что-то под нос.

Я знаю: была когда-то она журналисткой, выпустила даже книжку очерков. Замуж не вышла. Однако вышла рано на пенсию — по инвалидности.

Сны ее замучили после войны. Когда, вернувшись из эвакуации, совсем юной, стала собирать — в память о погибших родных — материалы о гетто и концлагерях Прибалтики.

*

Чем были эти сны необычны, а, может, как раз закономерны?

В них оживали те детали, которые не могли войти в ее очерки: тогда это называли «натуралистическими подробностями», противопоставляемыми советской журналистике.

Любопытно: нередко она видела себя во сне тоже спящей.

Несколько раз будто бы долго спала в одной из «малин» гетто — особом укрытии, куда попасть можно было только через печь. Набилось туда человек двадцать. От нехватки воздуха некоторые теряли сознание, впадали в бред. Потому друг за другом следили: зажигали время от времени свечи, освещая серые полумертвые лица. Счастьем было заснуть, чтобы перестать ощущать обязательные потребности жизни.

И это счастье однажды выпало ей. Сон был долгий. Проснулась она от крика грудного ребенка, которого держала на руках соседка. Но крик вскоре стих. Кто-то в темноте, не раздумывая, накрыл малыша подушкой. Жутко сказать, но против приговора никто не протестовал. В соседней с «малиной» комнате немцы вели обыск.

Это был только сон. Хотя подобное не так уж редко происходило в «малинах» — я слышал от узников гетто то же самое не раз и не два. Почему же история эта, повторяясь в сновидениях, именно ее довела до больницы? Может, все дело в творческой лаборатории литератора? Тщательно продуманные, озаренные воображением, но ненаписанные сюжеты подчас в буквальном смысле слова не дают автору жить...

Она встает. И мы снова идем медленно вдоль озера.

Угадывает мои мысли:

— Не волнуйтесь, дорогой, теперь я научилась справляться с этим. Главное — знать себя, свои возможные сны, их время. Самые страшные бывают обычно с четырех до шести утра. Самые тяжкие мысли тоже тогда приходят. Раньше я боялась тех часов, потом выучилась подкарауливать их — просыпаюсь заранее, будто будильник заведен... Зажгу свет, детектив прочитаю. Затем уж, утром, подремлю немного. Сны утром идут совсем другие: теплые, ровные. Не замечали?

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Весной 1998-го — встреча (дома у Евгения П.) с молодой американкой. Психолог. Некоторое время записывала сны больных СПИДом.

— Есть ли в них что-то примечательное?

— Ничего.

И рассказывает несколько сюжетов:

—...Юноша мчится по скоростной дороге. Вдруг — на встречу ему — вылетает автомобиль. Машина стремительно приближается. В последний момент юноша успевает перейти на соседнюю — к счастью, пустую — полосу.

—...Женщина ест яблоко. Неожиданно чувствует тонкую режущую пластинку: ее рот наполняется кровью. Внутри яблока — лезвие бритвы, которое с трудом удастся выплюнуть.

Вспомнил сразу: я тоже записывал подобное. Сны людей, оказавшихся на самом краю жизни.

ФОРМУЛА СНА

«Долгая прогулка в вечность». Это название романа К.Воннегута, разумеется, не имеющего никакого отношения к снам.

ПАРИЖСКИЕ СНЫ

Наша маленькая гостиница в самом центре Парижа называется громко: Grand Hotel. По рекомендации друзей мы заказали здесь номер месяц назад — из Чикаго. И неожиданностей почти нет: в меру уютно, чисто. А больше нам ничего и не надо. Мы с женой возвращаемся сюда поздно вечером, переполненные Парижем. И все — спать, спать (после просмотра на подвешенном под потолком телевизоре сводки новостей ВВС).

Неожиданность одна. Впрочем, и о ней мы были предупреждены: еще Исаак Бабель подробно описал тонкие переговоры парижских гостиничных номеров. Слышно каждое слово соседей, едва ли не каждый шорох.

У нас за стенкой (прямо за нашими головами) живет семья словаков. Они приходят совсем поздно — когда мы уже засыпаем. И тут же начинают громко смеяться. Чему-то своему, нам неизвестному.

Тем не менее даже под этот аккомпанемент я вижу сон. Просыпаюсь, тут же снова дремлю. И сон продолжается точно с того места, где прервался.

*

...Я стою в огромном зале, заполненном людьми. Как и все, держу в руках подушку. По невидимой команде мы одновременно начинаем снимать с подушек наволочки, а потом ссыпаем пух в центр зала. Куча растет, ее утрубовывают руками.

Но перья все равно непослушно взлетают вверх...

*

Ночью я сразу узнаю лица некоторых стоящих в зале людей.

Мой непостаревший «двойник». Так я мысленно называю молодого мужчину, очень похожего на меня. Столкнулся с ним случайно, четверть века назад, в железнодорожном санатории — в павильоне для принятия ванн.

Молодой бурят, изучающий повадки голубей (мы жили вместе в общежитии московского пединститута: был я там на какой-то стажировке, он — защищал кандидатскую диссертацию).

Французские евреи, которых мы с женой увидели на второй день после приезда в квартале Марс. Они шли быстро и почему-то настороженно. Шли группами по три-четыре человека — словно поддерживая друг друга.

...Но кто давал команду сыпать пух? Нежели Тот, кто установил — раз и навсегда — ритм и суть человеческого существования: дни наши похожи на сон; дела наши легки — точно пух. Как потом выдохнул Кофелет: «Все это тщета и ловля ветра».

ТАНЕЦ НА ЛЬДУ

В гетто она жила в шестиметровой грязной каморке — вместе с матерью, двумя тетками, женатым братом и, кажется, кем-то еще.

Один и тот же ритуал повторялся каждый вечер. На пол (в проходе) клали газеты, потом старые одеяла, в головах лежала крошечная подушечка. Ей было семнадцать. Усилием воли она заставляла себя не замечать запахи и звуки переполненной телами комнатухи.

Из снов той поры она рассказала мне один. «Часто повторялся? — Вижу его до сих пор».

А сон — вот он: почти обнаженная, чуть прикрытая воздушным чем-то, белым, она несется на коньках по огромной ледяной арене...

В голосе ее — старое недоумение: ведь танцевать-то никогда не умела! И — никогда не стояла на коньках.

Убежденная материалистка, она не унижится до того, чтобы заглянуть в какой-нибудь сонник.

Между тем там утверждается: увидеть себя во сне обнаженным — значит, пережить потом чувство стыда наяву. Не знаю, как раньше, но теперь она давно не испытывает даже неловкости, эта высокая, жилистая старуха. Командует всем и всеми — соседями, семьями сына и дочери.

Хотя нет! Существует все же время, когда старуха не слишком уверена в себе. Ранним утром она тихо прокрадывается в ванную комнату с маленьким сверточком в руке. Она думает, что все еще спят. Ей стало бы совсем не по себе, когда б узнала: через приоткрытую дверь столовой за ней часто наблюдает с дивана проснувшийся двенадцатилетний внук. Он легко представляет, как в ванной комнате бабушка достает из носового платка помазок, бритву, как, близоруко щурясь в зеркале, тщательно намыливает, а потом выбривает не дряблые еще щеки...

Мальчик уныло смотрит в потолок. А в это время она, протерев лицо лосьоном, густо пудрится и уже совсем иначе — как всегда победоносно — выходит в мир.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ

Когда-то мой товарищ преподавал в университете, изучал русскую литературу двадцатых годов. Это — к слову, чтобы ясны были обстоятельства места и действия.

Итак, ранний его звонок в начале августа.

— ...Знаешь, что я сегодня видел во сне? Бурное литературное собрание. И даже сам выступил там, вернее — задал вопрос одному весьма важному литературному господину. Сначала я и не знал, кто он. Спросил. Оказалось — Яков Э-г!

Мой товарищ молчит. Наслаждается моим изумлением. А я тут же вспоминаю биографию и книги Я. Э. Заметного когда-то литературоведа и критика. Умел он — как многие советские евреи — тонко почувствовать потребности *текущего момента*. Умно, хотя, конечно, с налетом вульгарного социологизма, писал о футуризме и Горьком, Герцене и Салтыков-Щедрине... Вульгарный социологизм можно извинить, если посмотреть на труды Я. Э-га объективно — вспомнить время их создания. К тому же не это, не литературоведческие труды явились главным делом его жизни.

По доносам Я. Э-га ушли в лагеря молодые аспиранты, известные ученые, писатели...

Как принудили его? Технология работы органов известна, но подсказку дает и название одной из книг Я. Э-га, 1924 года: «Во внутренней тюрьме ГПУ (наблюдения арестованного)».

А что, что же испытывал он, когда встречал своих бывших друзей и приятелей, возвращающихся из заключения?

В таких случаях вопросы всегда риторичны. И все же:

— О чем ты спросил его? — это я уже обращаюсь к товарищу.

— Только одно: хорошая ли у вас память?

Ответа он не расслышал. А вскоре опять ушел в тот сон — за разгадкой.

ВСТРЕЧА

Мысли и образы, которые приходят во сне, имеют, конечно, свою логику. Какую? Например, когда мне снится отец, я сразу же вспоминаю: его давно нет с нами. Но при этом никогда не помню, что он уже умер и сам же я его хоронил.

Кажется всегда: он только куда-то уехал надолго. И точно пропал без вести.

Отец появляется в моих снах тихо, почти незаметно. Спокойный, но не улыбчивый. Обычно он сидит чуть в стороне от всех — присматривается, слушает. Молчит.

В одном из снов — недавних — все иначе.

Я замечаю отца, когда он еще только входит в комнату. Иду навстречу. Мы бросаемся друг к другу, долго не разнимаем объятий, у обоих на глазах слезы, которые пытаемся скрыть.

Обычно отец не носит галстука (совсем редко, в «парадных случаях», надевает тот, что на резиночке, с уже завязанным узлом). Две верхние пуговицы на отцовской рубашке вечно расстегнуты. Почему-то я внимательно смотрю сейчас туда: на его загорелую, в морщинах, шею, на покрытую веснушками и рыже-седой порослью грудь. Но откуда эти большие разрезы? Грубо зашиты, еще не зажили — заклеены лейкопластырем.

Удивленно начинаю рассуждать про себя: такие разрезы появляются на теле в результате патологоанатомического вскрытия. Но ведь мы решили не делать этого! Так и похоронили его.

Непонятная логика сновидений упряма. Даже после мыслей о смерти отца не вижу его мертвым. Однако — впервые во сне — прихожу на его могилу.

Вот оно, кладбище. Прожженная солнцем возвышенность на окраине киргизского городка Джалал-Абад. Жесткая, колючая трава вокруг. Маленький тополек за тридцать лет разросся — сумел поглотить почти все пространство внутри металлической оградки.

Под тополем — скамейка. Только сидеть здесь теперь некому. Мы долго когда-то выбирали это место. Искали такой участок, чтобы весной редкие, но бурные дожди не залили могилу.

Тогда мы старались не думать о том, что отец, приехавший сюда из Сибири, в Средней Азии так и не прижился. Он бы, конечно, не хотел остаться здесь навсегда, среди песчаных этих холмов.

БРАТ

В тот год я тяжело заболел. В подобных случаях евреям часто дают новое имя. Кстати, так поступают не только иудеи. Это древняя, мудрая попытка изменить предназначенную человеку судьбу...

Новое имя однажды получил и я (если уж говорить точнее — к старому, родному, добавили еще одно). Однако не стану рассказывать сейчас о самом ритуале. Хочу припомнить сон, который видел три ночи подряд. Значит, вещей?

*

...У входа в свою квартиру я опять неожиданно встречаю отца. А рядом с ним — чуть в стороне, задумавшись о чем-то — стоит мужчина, очень похожий на меня. В сущности, мы все трое похожи друг на друга — отец, я и незнакомец. И все одного возраста — около шестидесяти.

«Это твой брат, сынок. Люби его», — с необычной мягкостью говорит мне отец.

Я теряюсь, не знаю что ответить: родного брата у меня никогда не было.

Однако отец и не ждет ответа. Все вместе мы входим в квартиру. Почему-то я обращаю внимание на то, как захлопнулась дверь — не сразу, но не оставляя пути назад.

*

Я впервые увидел этот сон вскоре после того, как врач нарочито сухо и спокойно произнесла не слышанное ранее мной название болезни.

Рассказал сон жене и маме, хотя почти никогда этого не делаю — случается, в пересказе сон вдруг теряется.

Мама и жена только пожали плечами. Но полгода спустя я вдруг понял тревожный и зыбкий смысл того сновидения. «Братом» был я сам — человек с новым именем и новым странством судьбы.

ОТКУДА ПРИХОДЯТ НОЧНЫЕ СТРАХИ

В эти годы я прочитал все, что можно было прочесть о сновидениях. От Фрейда и Юнга до Борхеса и Кастанеды, от Учителей востока до авторов различных сонников. Однажды, естественно, задал вопрос: что говорит о снах иудаизм?

Один из тех, с кем вместе ищу ответ, — Мойша Б.

Сколько лет я его знаю? Пожалуй, без малого сорок лет.

Еще лет шесть до того он оставил в России все — в том числе себя прежнего, типичного московского интеллигента. В Америке Миша стал Мойшей — хасидом Любавичского Ребе. Работа программиста, небольшой, но хорошо обустроенный двухэтажный дом нисколько не мешают Мойше и его жене Либке жить так, как жили единоверцы по меньшей мере лет сто назад. В теплом мире хасидских преданий, в настойчивом, простодушном стремлении делать добро, в постоянном ожидании Мошиаха.

— Куда мы отправляемся ночью вслед за своими снами? — переспрашивает Мойша. — Наверное, очень далеко.

В книге «Кицур Шулхан Арух», где изложены кратко законы еврейского образа жизни, читаем: «...Во время сна наша святая душа покидает тело, оно оказывается во власти духовных сил скверны...»

— Вот почему, проснувшись, мы должны как можно быстрее омыть руки — именно на наших пальцах еще остаются следы умирания.

«Согласно Кабале, человек, который, не омыв рук после сна, прошел расстояние хотя бы в четыре локтя (около двух метров), подвергает свою душу смертельной опасности».

Вот откуда приходят ночные страхи.

КТО-ТО ПОМНИТ

Если вдуматься, сны похожи на наши прошлые жизни.

Рассказ Л.Б.:

— ...В Австро-Венгрии, в старину, решили породниться две еврейские семьи, жившие в разных городах. Никогда раньше не виделись. Все устроили, как принято было, сваты (шадхены). Жених должен был приехать за неделю до свадьбы, но задержался — появился только за несколько часов до хупы. Невеста, понятно, волновалась, не отходила от окна. Наконец, увидела жениха и — расплакалась: «Не пойду за него...» Войдя в дом, жених сразу все понял: «Мне надо срочно поговорить с невестой...» Поговорили. Через десять минут она была уже счастлива и готова идти под хупу. В чем тут дело?

Жених был горбатым, точнее — он имел два горба. А что же он сказал невесте, почему она успокоилась и обрадовалась? «Когда на небе решалось, кто станет моей женой, я увидел: девочка, предназначенная мне, будет с горбом. Я знал уже, что тоже буду иметь горб, но вот по поводу своей будущей жены начал спорить и просить: пусть уж лучше у меня вырастут два горба...»

Что самое интересное в рассказе Л.? Жених (мудрец из известной еврейской семьи), конечно же, не хитрил, не пытался разжалобить невесту. Она сама вдруг припомнила, точно старый, давно виденный сон: так все и было.

«НЕИНТЕРЕСНЫЙ СЕКС»

Я видел во сне — из ночи в ночь — огромную кровать: такой, знаешь ли, великолепный сексодром. Но все, что происходило в моих сновидениях, неизменно разочаровывало

меня. Ведь — не поверишь — в реальности все было наоборот! Мне исполнилось тогда тридцать лет, и девочки, словно карты в бесконечной колоде, стремительно сменяли друг друга в моей спальне.

Самое парадоксальное: я не считал это обычным развратом молодости. Ведь я помнил о главном. Я очень хотел жениться и, казалось, добросовестно искал в кровати свою половинку... Так и не нашел. И, в конце концов, женился, потеряв терпение и голову. Месяца через три понял обычное — то, что замечал повсюду: рядом со мной — чужой человек. Но жена уже вынашивала ребенка. И мы разошлись только через два года, когда немного подросла дочка.

Все, конечно, началось снова. Та же колода карт, где — одни дамы. Однако никого я уже не искал. Хотя по-прежнему видел сны, в которых — огромная кровать и неинтересный секс.

*

У него голубые, тоскующие, все еще пронзительные глаза. Нерастраченное обаяние. Большая, доставшаяся от родителей (уехали в Израиль) квартира в самом центре Вильнюса. В прошлом он — заводской юрисконсульт, а теперь (в середине 90-х. — *Е.Ц.*) — незадачливый коммерсант.

Ах, Марик, Марик! Где ты и с кем сейчас?

КРАСНАЯ СМОРОДИНА

Как записываю чужие сны? Спрашиваю о них невзначай, «кстати». Не хочу выдумок и фантазий: к ним склоняет сам жанр снов.

Боюсь ненужного теоретизирования.

Понимаю также, что велик соблазн отредактировать свои сновидения.

Во сне я уже много раз ездил на Запад. Только сегодня там случилось со мной загадочное... Иду звонить по междугороднему телефону-автомату, что стоит у входа в почтамт. И вот там на меня нападают... Такое впечатление: меня знают, ждут. Что делаю я? С силой отталкиваю нападавшего, он упал и уже не встает. Я наклоняюсь, с ужасом вглядываюсь: неужели мертв?

Да! При падении неизвестный разбил себе голову, часть черепа даже отлетела в сторону... Никогда не думал, что у меня такой удар. Странно только: нигде не заметил крови. Приглядываюсь. Оказывается, голова была пластмассовой. Значит, понимаю, передо мной — не человек, а робот.

*

Он из Киева. «Семен... Сiju в одной организации», — скромно говорит мне. Седой, плотный, розовощекий. Одет в джинсовые шорты и белую майку.

В самом начале девяностых мы вместе стоим в очереди на рынке — за красной смородиной. Моя собака — черный пуделек Граф — вдруг начинает облизывать волосатые лодыжки Семена. Перекинувшись несколькими фразами, идем с базара. Душно. Вяло переговариваемся. Вдруг роняет: «А какой я сегодня сон видел...»

Может, красная смородина и напомнила ему кровь, которую Семен искал, но не смог обнаружить во сне?

ПРОКАЗА

Все они обнажены. Лежат рядом друг с другом — молодые мужчины и женщины. Маленький остров, омываемый океаном. Чудесный, желтоватый, совсем мягкий, как мука, песок.

Почему же они не обращают внимания на свою и чужую наготу?

Обычно так бывает в минуту смертельной опасности. Голос плоти, как правило, тогда замолкает.

*

— ...Да, каждый из нас думает только о небольших ранках, которые все время появляются на теле.

Почему-то я точно знаю название этой болезни — «проказа».

У каждого из нас в руках тюбик с мазью. Ранки иногда заживают. Но потом открываются снова, увеличиваются вдруг....

Любопытно: все мы почти не думаем о другой опасности. Ведь нам угрожает не только болезнь! Маленький остров

*уменьшается на глазах — его неотвратно поглощает океан.
Так что смерть уготована нам в любом случае.*

*

Этот сон трудно расшифровать? Только на первый взгляд. В Торе (в частности, в главе «Тазрия») много говорится об особой болезни, которая в старину настигала человека за страшный, с точки зрения иудаизма, грех — злословие.

Уточню одно: проказа тогда ничего общего не имела с болезнью, которую лечат сегодня в лепрозориях.

СБЫВШЕЕСЯ

Мне одиннадцать лет. Большой сибирский город, в котором летом от жары становится мягким асфальт и который в газетах почему-то называют «городом-садом». Школа в старинном двухэтажном доме с резными наличниками. В нашем классе — двое евреев: Г.Ф. (умная, спокойная девочка с серыми глазами и длинными косичками) и я.

Разумеется, евреем дразнят только меня.

Я долго ни о чем не говорю родителям. Во-первых, почему-то стыдно. Во-вторых, ведь все — правда: я, действительно, еврей.

Наконец, решаюсь. Мама и папа советуются весь вечер. На завтра они отправляются к моему классному руководителю. Причем, не в школу — домой. Я плетусь вслед за ними (видимо, для того, чтобы в случае надобности дать показания).

Учительница встречает нас с вялым радушием, но с полным пониманием:

— Это безобразие!

Добавляет, вздыхая:

— Что же я могу сделать? Ведь я тоже — еврейка...

Учительнице лет сорок. У нее — желтовато-застывшее лицо, муж — офицер, в нашей школе учатся две ее дочери (как-то незаметно и тихо). На еврейку классная руководительница совсем не похожа.

Я рассказываю все это только для того, чтобы передать атмосферу своего детства — так сказать, предысторию сна.

*

Именно в это время я вижу себя во сне, в котором, вроде бы, ничего не происходит. Передо мной — как бы движущаяся фотография... Там мне лет тридцать. Одет в красивый полушубок (сейчас бы сказал: дубленка, но тогда слова такого не знал). Говорю с кем-то по маленькому складному телефону. И еще — главное: откуда-то точно знаю, что нахожусь в Америке.

*

Сон тот я запомнил на всю жизнь, вспоминал его время от времени (то с удивлением, то с усмешкой), но никогда никому не рассказывал. Сейчас не удержался. Может, потому что сон сбывлся?

Правда, в Америку я попал в сорок семь лет. Однако все остальное совпало. Даже дубленка, которую мне сразу после переезда подарила мама. Даже вот этот мобильник, по которому только что звонил дочке.

МЕД

Сорок лет не могла она избавиться от этого сна. И вот мне рассказали недавно: умирая, отходя медленно в беспамятство, она стонала:

— Мед... сладко... пить...

Поначалу сон казался ей обычным. Одно из тысяч безответственных сновидений, которые в течение жизни являются любому из нас.

Сон этот всегда четко помнился — до мелких деталей, до слюны в горле: из большой, трехлитровой, банки кто-то медленно переливал мед по маленьким, буквально крохотным, баночкам.

Сон повторялся регулярно: пропав на месяцы, возвращался с теми же подробностями. Мед искрился сквозь стекло банки: еще не успев загустеть, был совсем жидкий — как хотелось его тут же пить, приставив край банки ко рту, а потом заесть свежим белым хлебом!

Несколько лет она была уверена: сон этот — следствие постоянной (в ленинградскую-то блокаду!) голодухи. Однако в сорок восьмом ей, как само собой разумеющееся, открыла

цыганка: мед обычно снится к какой-то усадле. Цыганке она сначала поверила, но после, вспомнив день за днем блокаду, истерично — до слез — смеялась: уса-а-да!

Значение того сна она, как ей показалось, поняла в пятьдесят шестом, встретив в московской булочной, что на улице Горького, Фирку Каган. Та сумела в войну выползти из рва, куда закопали все их местечко.

— ...Рассказала Фира, как погибла сестреночка моя Ривка. Мы с ней двойняшки; перед расстрелом, значит, ей исполнилось девятнадцать. У нас у обеих была собачья тяга: выжить. Я в блокаду еду тащила — откуда могла, инстинкт говорил: где, у кого, когда. И ведь не попалась ни разу! А Ривка, перед смертью уже, скинув в общую кучу одежду, голая ползала на коленях — ловила руками сапоги полицаев... Не пожалели, конечно!

Тогда, если отсчитывать с середины пятидесятых, у нее была еще впереди половина жизни. «Сладкая», — уверенно говорила она мне.

По-моему, однако, она слишком прямолинейно толковала свой сон.

Она всегда любила поговорить, не давая никому вставить слово в свои монологи. Отбрасывая их, словно шелуху, я снова пытаюсь уловить главное: восемь ее переездов из одного конца страны в другой; пестрая — теперь плохо различимая в лицо — чередка ее поклонников и мужей; наконец, опухоль, обнаруженная — конечно, слишком поздно — в Ташкенте.

Неужели все? Наверное, я просто что-то забыл.

*

Свой сон рассказала мне вскоре после нашего знакомства. И сразу упредила вопрос: «У меня никогда не было диабета».

Мне она приходилась дальней родственницей — такой дальней, что, пожалуй, не смогу сейчас объяснить степень нашего родства. Познакомился я с ней случайно, года за два до ее смерти. Она уже вышла на пенсию, а прежде работала парикмахером в разных городах, городках, поселках. Сразу понравилось мне в ней то, что она ничего не боится: ни переездов, ни резкого, навсегда, расставания с людьми. Это не было первым, случайным, впечатлением. Потом не убоялась она даже раковой опухоли — добилась от врачей точного диагноза, поняла, что

есть уже метастазы, спокойно перенесла тяжелую, ненужную операцию. С тем же спокойствием совершила и последнее — обменяла свою квартиру (с большей площади на меньшую, взяв доплату), продала почти всю мебель. Немалые эти деньги завещала одной супружеской паре — тихим людям, которых, уже больная, где-то нашла и которые стали за ней ухаживать, твердо пообещав приходить на могилу.

Ее одинокая, бесстрашная смерть была мне понятной. Но все же: чем была ее жизнь? Символом чего был — многие годы — ее такой простой сон?

ТАЙНЫ ЭСТЕР

Тут нет ничего странного, — говорит Эстер, — разумеется, снами можно измерить жизнь. Мы пьем кофе на ее кухне — маленькой, в панельном доме, недалеко от Калварийского рынка.

Она курит одну сигарету за другой. И рассказывает свои сны.

Сны Эстер похожи на стихи — та же бесспорность неожиданных ассоциаций. Чтобы не забыть, сны нужно сразу записывать. Но я записал (случайно, на каком-то бумажном клочке) только один сон Эстер. О том, как она учила ивриту редактора республиканской партийной газеты «Советская Литва».

Сон этот соединил вдруг разные полюса ее жизни.

В редакции «Советской Литвы» Эстер проработала несколько десятилетий. А в годы перестройки, вспомнив иврит, который учила в детстве, стала его преподавать взрослым людям — как правило, уезжающим на «постоянное жительство» в Израиль.

— Если я ничего не путаю... — говорит она, затягиваясь сигаретой и прикрывая дымом обнаженность своего признания, — ...если я ничего не путаю, это самые счастливые годы моей жизни.

Знакомит нас — несколько месяцев назад — Регина К. Она учится у Эстер и, следуя привычке чем-то постоянно одаривать знакомых, однажды устраивает вечеринку для соучеников. Приглашает и меня.

Потом (время от времени) мы с Эстер перезваниваемся. Потом (изредка) гуляем вместе по вечерам. Потом пьем на ее кухне кофе или чай.

Разница в возрасте (лет сорок), пожалуй, только скрепляет нашу дружбу.

Она делится со мной «тайнами» своей жизни (словечко, иронично употребленное Эстер).

Больше всего, однако, любит рассказывать сны.

Сны ее юности переполнены музыкой (Эстер училась тогда в консерватории).

Сны эпохи «борьбы с космополитами»; герои снов: сама Эстер и ее друзья — почти всех нет уже на свете, но зато живы страхи тех лет.

Всегда внезапные сны «старой любви» (избранником Эстер был прекрасный русский прозаик К. В.: советская власть, что называется, выдавила его из России, — зато они с Эстер нашли друг друга в той же редакции «Советской Литвы»).

Блеклые сны ее теперешнего одиночества.

Цветные сны, привезенные из Израиля, где она совершенствовала иврит на каких-то курсах.

«Теплые сны» связаны с поездками в Финляндию (там работает врачом ее сын).

Я не записываю сны Эстер. Однажды она просит меня никому никогда не рассказывать ее «тайны». И кажется мне: записывать ее сны (даже для себя) — значит, предать нашу дружбу.

После моего отъезда в Чикаго мы встречаемся с Эстер дважды.

Ее письмо, опечатанное на старой пишущей машинке: некоторые буквы едва видны и обведены сверху дрожащей рукой. Она желает мне удачи в Америке, но невысказанная суть письма, конечно, в другом: Эстер хочет успеть попрощаться.

Легко узнаю ее, читая переизданную в 2002 году книгу К. В. «Вот пришел великан...» Это история их любви. Роман написан больше тридцати лет назад, но Эстер здесь, кажется, совсем живая: красивая, как ее тезка-царица, смелая и — одновременно — скованная страхами, в которых никогда никому не признается. Не случайно ей проще всего говорить о себе, рассказывая сны.

Снова думаю теперь, узнав из письма той же Регины К. о смерти Эстер: снами, в самом деле, можно измерить жизнь.

Не годами, не морщинами, не промелькнувшей, словно болезнь, любовью — снами.

От детства к старости.

Прошелестят. Позабавят. Вспугнут. Заставят призадуматься. Наконец, исчезнут.

Вот вам и путь человека.

ЭССЕ

ПУТНИК

В начале девяносто второго года в Иерусалиме мела метель. Такой зимы не знали здесь лет сто. Пешеходы тонули в сугробах, машины выделявали на дорогах пируэты, ураган легко надламывал пальмы. В те дни я читал рукопись, которая, как и метель, возвращала меня в Россию. На первой странице стояло: Аб Мише, «Черновой вариант». Автором был недавний репатриант из Москвы — в миру его звали Анатолий Абрамович Кардаш.

Произведение это, не похожее ни на какие другие, имело и свою — необычную — судьбу. Рукопись еще не была издана отдельной книгой, но о ней знали многие. Сначала «Черновой вариант» приобрел известность в «самиздате», потом — в отрывках — начал «гулять» по страницам российских и израильских изданий. Наконец, знаменитый литературный критик Лев Аннинский опубликовал о рукописи (!) Аб Мише большую и, как всегда, яркую статью в одном из московских журналов. Там были такие слова: «...огромное, фундаментальное исследование еврейского вопроса, затрагивающее все области гуманитарного знания и все этапы тысячелетней диаспоры».

Признаюсь: мне непросто сейчас представить читателю произведение Аб Мише. Непросто передать дерзкий замысел автора. Начну с того, что сразу бросалось в глаза и, конечно, удивляло, настораживало. Многие главы «Чернового варианта» почти целиком состоят из... цитат. Причем, иногда эти выписки очень длинны — занимают по несколько страниц, текут себе привольно, прерываясь лишь кратким (в одно-два-три предложения) комментарием автора. Может быть, перед нами хрестоматия? — спрашивал я себя. Нет, это не так. Цитаты здесь совсем не нейтральны: порой продолжая друг друга, они чаще спорят между собой. Книга-диспут? Однако и это не точно. Тем более, что нередко скрепляет цитаты не проблема, идея, но какая-то ассоциация, не сразу понятная читателю, какой-то образ, промелькнувший в авторской памяти.

Однажды я догадался: Аб Мише написал исповедь. Да, исповедь, которая построена очень непривычно для нас. Автор нередко говорит с помощью чужих слов, но выражает выстраданное, свое.

Наверное, кому-то покажется, что здесь есть противоречие между главной, сокровенной сутью этого повествования и его литературной формой. Противоречия нет. Ведь перед нами — хроника «расследования» еврейской истории. Или даже так: дневник познания истории человечества через призму еврейской судьбы. Субъективность взгляда не только не отменяет, но предполагает особую точность в изложении материала. Конечно, «итоги» расследования как бы заранее известны, но Аб Мише должен был перепроверить их для себя. Не каждый решится, думал я: за формулами ученых, цифрами, политическими программами, сбивчивостью писем — кровь. Аб Мише решился.

Почему и как он однажды пришел к мысли начать свое расследование? Ответ, по-моему, очевиден. Анатолий Кардаш, как и все мы, принадлежал к «безмолвному» советскому еврейству. Жили: забывая родной язык, не зная традиций, теряя национальную культуру. Но, как известно, исход из египетского плена регулярно повторяется в еврейской истории. Процесс этот всегда начинается не только с подвига вожаков, но и с попыток отдельной личности познать самое себя — корни, дальнейшее и близкое прошлое. С попытки победить в себе раба. Конечно, такой процесс самоосмысления необходим и народу в целом, если только тот хочет выжить, обрести новое дыхание.

Итак, путь в символическую «пустыню». Где прошел он для Аб Мише? Перед читателем — Древняя Греция и Рим, Египет, Испания, Португалия, Франция, Германия, Польша... Но если говорить точнее, первая и главная остановка в этом маршруте — Страна Антисемития. Вот ее контуры: «универсальная система ненависти», границы — «вне географии и этнографии», легко проходят «по землям, по душам». Ничуть не стараясь упрощать, Аб Мише анатомировал эту систему. Выделил фундаментальные основы: идеология, история, право. Рассмотрел формы и технику осуществления, области «применения» и проявления: наука, здравоохранение, культура, любовь, развлечения, школа (конечно, в некоторые понятия автор заранее вкладывает иронический смысл). Аб Мише вгляделся и в лица: вожди, сподвиж-

ники, элита, рядовые... Да, огромная страна: в сущности, начало ее положено Каином (извечные «семена зла»). Главные же законы жизни этой страны евреи помнят едва ли не генами: всегда и во всем виноват чужой, беззащитный, чаще всего — еврей. А потому, путешествуя по разным векам, Аб Мише обнаружит одно и то же: «...кровь зарезанных стояла в синагоге повыше порогов». А потому: «Такой-то город взят — погром. Такое-то местечко потеряно — погром. По дороге наступления — погром. По пути отступления — погром».

Симптоматично, что «загадка» антисемитизма мучает прежде всего самих евреев: наиболее совестливые в порыве самобичевания пытаются найти хоть какую-то правоту у оппонентов, понять хоть какие-то доводы своих гонителей (здесь и причина кажущегося таинственным еврейского антисемитизма). Напрасные терзания! — многократно убеждался Аб Мише. Ведь антисемитизм, в конце концов, — это не проблема самих евреев. Это — взгляд на мир, своеобразная лакмусовая бумажка человечества. Антисемитизм, — говорил Жан-Поль Сартр, которого так любит цитировать Аб Мише, — это «страх перед проблемами человеческого существования», страх «самого себя, своего сознания, своей свободы, своих инстинктов, своей ответственности, одиночества, перемен, общества и мира — одним словом, всего, только не евреев». Причем «страсть к антисемитизму несколько не требует стимуляции извне: она опережает события, которые могли бы ее спровоцировать, она сама их изобретает, чтобы получить возможность найти в них для себя пищу...» История легко подтверждает и другую мысль Сартра: хотя образ еврея наиболее удобен для антисемита, фобия допускает замену — функцию евреев могут выполнять интеллигенты, негры, армяне, цыгане... (сегодня на развалинах советской империи мы видим многовариантность выбора!)

Ведя поиск истины в лабиринтах переменчивой, однако неизменно жестокой по отношению к евреям истории, Аб Мише задумывался о психологии времени и — психологии отдельной личности. Праведника и подлеца, убийцы и жертвы, героя и того, кто так хотел остаться в стороне. Аб Мише умеет почувствовать психологию даже в повороте фразы, в умолчании, оговор-

ке. Поучительно наблюдать вместе с автором плетение словесных кружев, когда государственные мужи виртуозно меняют «точки зрения» на еврейский вопрос. Или — следить за тем, как попадают в паутину антисемитизма ученые, писатели. Если говорить о мастерстве психологического письма Аб Мише, нельзя не вспомнить главу «Фото». Вся глава — восемьдесят машинописных страниц — это уже не подлинная, но мнимая цитата. Искусная имитация, за которой — безыскусная, страшная правда. Погрузившись в документальный материал, Аб Мише реконструировал строй мысли и речи одной из безымянных участниц восстания в Варшавском гетто. Мы как бы вглядываемся в фотографию, обошедшую потом мир: девушка в мужской кепке, распахнутом пальто, дешевых бусах; рядом — эсэсовец, который целится в нее из автомата. Где-то невдалеке другой: хочет запечатлеть эту сцену — на «долгую память»? Вот-вот ее убьют. Но за несколько минут до смерти она расскажет будущему о себе и своих товарищах. «Я говорю сейчас их голосами... Я не выдумую ни одного факта, ничего не прибавлю, не украшу для занимательности — я не совру, не имею права, да у меня просто нет времени на сочинительство, даже поправить сбившуюся кепку мне некогда. Только бы успеть, пока этот тип возится с фотоаппаратом...»

И еще одним была уникальна книга Аб Мише. Сама по себе она тоже представляла собой редкий, такой необходимый документ — для социолога, психолога, историка советского еврейства. Ученые, к примеру, перечитывают даже список авторов, которых «допрашивал» в ходе своего расследования Аб Мише. Вроде бы конгломерат: Л.Толстой, Л.Безыменский, Л.Фейхтвангер, В.Короленко, Л.Гинзбург, З.Косидовский, М.Горький, И.Эренбург, Анна Франк, В.Гроссман... М.Нильсен, И.Тенеромо, Г.Фаст, Э.Рассел... Великие, малоизвестные, забытые имена. Именно их книги, статьи, письма (иногда даже только исторический комментарий к тем или иным трудам) по-своему формировали сознание советского еврея в 60–80-е годы. Характерны сами по себе и повороты, прозрения, тупики мысли автора «Чернового варианта».

Завершив книгу, он прошел, может быть, самую важную часть своего пути по «пустыне». Поставив точку, не случайно

вывел рядом с названием еврейское имя — Аб Мише. Что осталось там, в первом, «черновом варианте» его жизни? Детство: родился в тридцать четвертом в Киеве; когда репрессировали отца, мать долго скрывалась от ареста; рос в провинции — сначала в Средней Азии, в эвакуации, потом в поселках и городках, где разрешали жить вышедшему из лагеря отцу. Юность: антисемитизма, кажется, не чувствовал, его, вроде бы, и не было в Сибири, где Анатолий учился в Омском машиностроительном институте. Но вдруг припомнил, как сон, в нашем разговоре: «Почему-то я радовался, что не похож на еврея...» Зрелость: работал в Харькове, на «почтовом ящике», защитил диссертацию; жизнь таяла, уходила в никуда, теряла смысл. В поисках этого смысла он и задавал себе вопросы: кто я в этом мире; почему страдал и страдает мой народ; вечен ли антисемитизм; как остаться собой в бесчеловечных обстоятельствах тоталитаризма?

Впрочем, здесь уже начинаются страницы его дневника. Там «детские» вопросы эти конкретизируются, обрастают плотью истории. А еще в «Черновом варианте» звучит мелодия — то нежная, лиричная, то насмешливая, бравурная, то скорбная. Соглашусь с Львом Аннинским: «...книга, построенная на выдержках из других книг, — не “научна”, она музыкальна от первой до последней строки». Я думаю, это своеобразный показатель глубинной точности «Чернового варианта»: ведь музыка лучше всего фиксирует внутреннюю жизнь личности, движения души.

...Снова вернусь в прошлое. В двадцать восемь лет у него обнаружили злокачественную опухоль, уже были метастазы. Безнадежно — так понял Анатолий диагноз врачей, когда однажды ночью выкрал и прочитал «историю болезни». Он рассказывал мне об этом, чуть смущаясь, боясь сбиться на пафос: «...Только сам я был уверен: выскочу, выкарабкаюсь; поправившись, гадал: для чего же судьба подарила мне жизнь?»

Завершив «Черновой вариант», Аб Мише уже мог ответить на этот вопрос. Опыт самопознания состоялся. Потом он репатриировался в Израиль, начал работать в мемориальном

комплексе «Яд ва-Шем». Опять шли годы. Выходили его книги, несуетно притягивающие читателя — «Внимание: евреи!», «Черновой вариант», «Посреди войны. Посвящения», «У самого черного моря», составленная им антология «Холокост. Убийство евреев в 1933–1945 гг.»

Но это уже другой сюжет. А я, вспоминая нашу первую встречу с Аб Мише в заснеженном Иерусалиме, часто думаю: идти по «пустыне» легче, когда точно знаешь главное — откуда и куда идешь...

1992

ТАК И БЫЛО

Мне трудно было читать воспоминания Самуила Эстеровича; еще труднее пытаться их осмыслить... Как объяснить эту особенность читательского восприятия скромных мемуаров одного из вильнюсских евреев, который чудом выжил в Катастрофу, а спустя много лет решил рассказать «о том, что было»?

Правда — вот простой ключ к этой загадке. Правдой дышит каждая строка Самуила Эстеровича. Правда потрясает, хотя одновременно нередко повергает читателя в растерянность. Впрочем, именно на этих, самых «трудных», страницах воспоминаний я останавливался особенно подолгу.

Поведав о том, как автор и его семья скрывались от фашистов в подземном тайном убежище («малине»), мемуарист замечает: «Нам пришлось пройти через воистину дантовские сцены». Имя великого флорентийца, резко обнажившего темные бездны людского существования, было упомянуто здесь не всуе. Вновь и вновь память С. Эстеровича вырывает из прошлого эпизоды, где обстоятельства жестко испытывают самую суть человека, где — на поверхностный взгляд — подвергается сомнению вечное: гуманизм, мораль, долг, любовь...

Вот женщина выдает во время допроса в гестапо своих близких.

Вот отец-еврей, чтобы спастись самому, рассказывает гитлеровцам о сыне от жены-христианки, который служит в германской армии.

Во время «детской акции» в гетто малышей уводят на смерть, а родители вынуждены зачастую смириться.

Прячась в подземелье, люди задыхаются от нехватки воздуха; при этом одни сходят с ума, оглашают укрытие воплями, другие же, не колеблясь, убивают кирпичами соседей: ведь где-то рядом враги...

Я перечислил только немногие из «дантовских» сцен в большой рукописи С. Эстеровича. Нет, не случайно после войны

инные бывшие узники гетто и концлагерей не хотели рассказывать о пережитом, а главное — как бы прятали воспоминания о Катастрофе от самих себя.

И все-таки не уйти от вопросов: надо ли говорить об этом; не подорвут ли подобные напоминания нравственное здоровье народа, тем более — в диаспоре, где национальное самосознание и без того зыбко?

«Надо говорить всю правду!» — отвечал себе на те же вопросы старый больной человек, который на самом закате жизни, в Америке, оглядывался в прошлое. Самуил Эстерович ничуть не сомневался: правда не разрушает, но закаляет национальный характер; потомки наши имеют право знать обо всем, что было на пути народа; нельзя насиловать память ради того, чтобы сберечь чей-то душевный комфорт... Эти заповеди мемуариста — простые и мужественные — очевидно примет и его будущий, вот уж действительно благодарный читатель.

Ради объективности нужно добавить и другое. Разумеется, зоркая память Самуила Эстеровича сохранила также многочисленные проявления подвига, верности, человеческого благородства... Дело только в том, что автор нигде не подчеркивает это особо. Вообще С. Эстерович менее всего стремился обобщать, «выделять тенденции». Да, его тенденцией была Правда! Читатель, в частности, легко заметит: автор не следует, как нередко бывает, какой-то схеме в оценке того или иного народа. Подобно всем евреям, С. Эстерович с нетерпением ждал прихода Красной Армии, однако беспристрастный летописец фиксирует: в конце войны волна антисемитизма уже захлестнула Россию. Мемуарист не раз благодарно вспомнит поляка, которому обязан жизнью, но одновременно проходят перед нами лица других поляков — к примеру, рабочих из авторемонтной мастерской: они бурно радуются, глядя, как евреев ведут на смерть. С. Эстерович резко говорит об участии литовцев в уничтожении евреев, но примечателен такой эпизод. Когда во время отступления немцев Эстеровичи бежали из лагеря Х.К.П. (там содержались со своими семьями рабочие-евреи, занятые на ремонте немецких автомашин), к ним прямо на улице подошел незнакомый литовец — сам предложил укрыть их. И опять-таки спас жизнь! Наконец, как уже понял читатель, С. Эстерович вовсе не склонен идеализировать и собственный народ...

Иногда мне казалось: ему суждено было так много пережить и выжить в годы войны прежде всего для того, чтобы поведать об этом потомкам. Что ж, тем более естествен наш особый интерес к автору, его судьбе. С. Эстерович был достаточно открыт, исповедален в своих воспоминаниях; очень важные штрихи к портрету мемуариста сообщила мне его дочь. Самуил («Муня» — так звали его близкие) родился в Вильнюсе в 1897 году в «умеренно зажиточной семье» торговца Лейбы Эстеровича. Получив образование в Петербурге и Германии, он и сам стал к началу Второй мировой войны «преуспевающим деловым человеком». При советской власти, рассказывает Перелла Эстерович, ее отец «подвергался преследованиям как “буржуй”, предприятие и банковские счета были национализированы, а он не мог найти себе работу, которая защитила бы от депортации. Большую часть квартиры заняли коммунистические чиновники, он был на грани высылки, когда Германия напала на своего бывшего союзника Россию».

Отныне испытания обрушивались на Самуила Эстеровича — одно за другим. Но, кажется, сама судьба всегда берегла и хранила его. К некоторым тяжелейшим нравственным дилеммам, связанным с этим, автор мучительно возвращался в течение десятилетий. Когда-то его спасла работа в автомастерской: там выдавали специальные удостоверения, своего рода «разрешения на жизнь». Легко ли, однако, было ощущать себя живым? Уже в начале немецкой оккупации в Понарах расстреляли мужей двух сестер Эстеровича (у них не было «охранных грамот»). Потом погибла и его мать. Считая, что евреев убивают только в Литве, Эстерович с невероятными трудностями переправляет сестер Эмму, Анну и племянницу Шелу в Белоруссию; «в день, когда они добрались, — пишет Перелла, — их загнали в синагогу и сожгли».

Кто знает, может быть, именно эти постоянные душевные терзания, попытки найти хоть какой-то смысл в трагических парадоксах истории, стремление передать будущему груз фактов, сомнений, мыслей — может быть, именно это, в конце концов, разбудило в нем талант летописца.

Что было в жизни Самуила Эстеровича после войны? Некоторое время он работал в Вильнюсе экономистом и, как заметила дочь, «имел трагикомические проблемы с социалистическим

планированием». Потом, «не желая жить при коммунистической власти», семья Эстеровичей репатрировалась в Польшу. Почувствовав на себе польский антисемитизм, они бежали в Италию: там Перелла получила степень доктора химии, а ее отец работал в «Джойнте» — был инспектором лагерей беженцев, защищал беспомощных людей (таких, как вчера он сам) «от воров и эксплуатации». Дорога, как известно, — удел евреев. После Италии — США. Эстеровичи попадают в Нью-Йорк, затем Перелла, выйдя замуж, переселяется в Калифорнию, куда почти через два десятилетия убеждает переехать и родителей.

...Я снова пытаюсь представить Самуила Эстеровича в этот, самый последний, период его жизни. Преследовали утраты: недавно он потерял жену. Наконец-то по совету дочери начал писать воспоминания. Конечно, ему трудно было побеждать стиль, почти забытый поток русской речи. Гораздо легче оказалось войти в прошлое — оно ведь никуда не исчезало, было с ним всегда. О чем он думал тогда? О жестоком веке, об истории, которая мало чему учит людей? Разумеется, вспоминал Вильнюс, где успел побывать снова незадолго до смерти.

Самуила Эстеровича не стало в 1985-м. Перелла дописала и отредактировала его воспоминания, перевела на английский, издала их в США небольшим тиражом.

Что добавить еще? В мою жизнь записки Эстеровича вошли около двенадцати лет назад. Тогда мой друг профессор Ирена Вейсайте передала фрагменты воспоминаний в вильнюсский альманах «Еврейский музей», который я редактировал.

Прошли годы. Но я все еще вдумываюсь в «наивные» вопросы, заданные Самуилом Эстеровичем: как человеку сохранить в себе человеческое, как жить и — выжить.

1994, 2006

ОДНО ПИСЬМО

Жизнь писателя Иосифа Рабина была долгой и счастливой... Я произношу мысленно эти стереотипные, но вроде бы вполне уместные слова и чувствую их внутреннюю несовместимость. Почти кошунственность. Можно ли вообще сказать счастливый о любом из еврейских советских писателей?

Трагедия настигала их всегда, всюду. Даже если казалось: кому-то из них повезло. Вот так, как повезло Иосифу Рабину. Он умер на восемьдесят восьмом году жизни в собственной постели, а не в тюрьме или лагере (попал туда в конце «легендарного» тридцать седьмого в качестве «польского шпиона»). Он уцелел на фронте, где воевал солдатом стрелкового полка. Он сумел выпустить немало книг, которые принесли автору известность. Его любили родные, друзья, читатели («Ах, какой волшебный у Рабина идиш!» — недавно выдохнула моя знакомая старушка)... И все же резко оборву этот перечень мнимого благополучия! Ведь трагедия жила в каждом из них — буднично, незаметно.

Я часто думал об этом, когда в конце восьмидесятых-начале девяностых начал записывать воспоминания еврейских литераторов, их вдов и детей. Именно тогда я познакомился с дочерью И. Рабина — Любовью Иосифовной Зак.

Наши частые встречи с Л. И. в Москве и Литве проходили на фоне стремительных перемен в обществе: они, как всегда, не сулили евреям ничего хорошего. Реальностью казались скорые погромы, полный развал экономики (в чем, конечно, обвинят евреев). Кому будут нужны тогда книги с древними буквами? Как сохранить в пламени всеобщего хаоса еврейские рукописи? Ответа не было. Все же я посоветовал Л. И. передать архив отца недавно воскрешенному — в уже независимой Литве — Еврейскому музею: «Там умеют хранить». Была и другая причина — Иосиф Рабин много писал о Вильнюсе, который издревле называли «Иерусалимом Литвы» и который он — не скрывая нежности — любил.

Я не раз наблюдал, как Л.И. собирала архивные папки в путь. Она прощалась. Перебирала страницы отцовской и — отчасти — своей жизни.

...Когда-то я долгие годы работал с архивами писателей. Вроде бы, архив И. Рабина мало чем отличался от них. Рукописи опубликованных произведений: можно проследить, как шел автор «от замысла к воплощению». Наброски, черновики — «тайное тайных» художника слова. Письма от коллег, старых друзей, читателей... Нет, нет, он был все-таки особым — архив еврейского литератора.

Многое здесь не сохранилось! Было когда-то конфисковано при обыске сотрудниками НКВД. Или уничтожено самим владельцем в ожидании нового возможного ареста. Я сразу почувствовал и другое: большинство материалов как бы изначально «сдержанны» — заранее рассчитаны на своего рода немоту. Вот те же письма. Давно уже не было в живых адресата (как, наверное, и большинства корреспондентов). Почему же, однако — даже спустя несколько десятилетий — ощущалась исходящая от этих писем аура тревоги и страха? Не приходилось сомневаться: едва ли не каждое слово здесь было рассчитано и на прочтение в КГБ. Советские евреи хорошо овладели искусством общения с помощью намеков: формально к фразе придаться нельзя — только адресат мог правильно оценить второй, скрытый смысл высказывания... Характерной была и «забывчивость» некоторых корреспондентов Иосифа Рабина! На конверте нередко не отыщешь ни адреса отправителя, ни его фамилии. Так писали тогда многие, рассуждали: предосторожность не помешает, перед читателями из КГБ лучше лишний раз не «мелькать»...

Что ж, архив «еврейского советского писателя» заставлял задуматься о различных проблемах психологии его творчества, а в не меньшей степени — о психологии существования и выживания. Эта тема достойна стать предметом большого научного исследования... Впрочем, подумал я вдруг однажды, о той же трагедии — красноречиво и отчетливо — может рассказать даже только одно письмо из архива Иосифа Рабина.

Увы, и это было обычной реальностью жизни: среди писем, получаемых еврейскими литераторами в СССР, всегда встречались откровенно антисемитские. И в самые спокойные

годы, когда стихали «протесты общественности» против «бездородных космополитов», «убийц в белых халатах» или «происков сионистов», немало читателей раздражало уже самое еврейское имя автора на обложке книги, возмущали еврейские имена героев, а также то, что персонажи произведения похожи на... нормальных людей.

Я долго колебался, прежде чем решил опубликовать одно из подобных писем в альманахе «Еврейский музей» (Вильнюс, 1994): надо ли множить антисемитский бред с помощью типографской техники? Но потом представил, как читал и перечитывал это письмо Иосиф Рабин: творцу всегда особенно трудно в обстановке враждебности и подозрительности — гаснут замыслы, уходит вдохновение... Я не стал менять ни стиль, ни орфографию письма. На конверте стояла дата: 1957-ой, 28 августа.

Письмо было анонимным. Автор, как и некоторые другие (еврейские) корреспонденты И. Рабина, уходил в тень, но ... совсем по иной причине. Из контекста легко понять: писала немолодая женщина. Она прочла изданный годом раньше по-русски сборник Иосифа Рабина «Повести и рассказы». И — «не могла не взяться за перо»:

«Глубокое возмущение и гнев заставили меня написать это письмо.

Случайно прочитав Ваши повести и рассказы: «У Немана», «Филипп Горностай», «Тракторист», «Профессия», «Нема Любич», «Дом», «Источник», «Подруги», «Новоселье» и «Новый год», была потрясена до глубины души.

Всему есть мера. Все прекрасно знают место, которое занимали во время Отечественной войны евреи. Только не фронт, а если и были там, то это единичные случаи на сотни тысяч русских. Почему не писать правду о евреях, о их трусости, подлости, воровстве, нечистоплотности? Прочитав эту книгу, каждый возмутится. Что ни рассказ — евреи воюют, пришли с фронта, работают слесарем, трактористом. Какая наглость!!! Где? Когда? Уж лучше ничего не писать, чем заведомую ересь. И после этого евреи возмущаются, что их не любят. Все, что есть подлого, низкого, все в этой расе. Если есть хорошие, то это 1:10000. Но читать эту книгу равнодушно нельзя. Получи-

лась «медвежья услуга». Все подчеркивается в противоположную сторону. Все против. Написать такую книгу может какой-нибудь провокатор, который хочет еще больше озлобить всех против евреев. Лучше Рабин шел бы торговать в жидовскую галантерейную лавочку или любую жидовскую палатку на рынке, чем ставить на высоту пархатых, вонючих жидов. Ведь от жидов от всех воняет козлом. И когда же только избавится русский народ от этой нечисти. Я не за Гитлера, но мало перебито евреев, надо было уж бить до конца».

На это письмо ответить было нельзя. Не только потому, что отсутствовал обратный адрес. Невозможно было ответить и в прессе. Иосиф Рабин знал: любое серьезное обсуждение «еврейского вопроса», проблем еврейского национального бытия и сознания в результате насаждаемого антисемитизма стало восприниматься цензорами и редакторами однозначно — как преступление, квалифицироваться угрожающе: «сионистская пропаганда», «буржуазный национализм».

Да, писатель молчал, чувствуя сгущающийся, мрачно надвигающийся антисемитизм — государственный, поистине тотальный. Писатель, который всегда стремится понять каждого, мог лишь задуматься: что пережила эта женщина? когда и при каких обстоятельствах поверила, что во всех ее бедах виноваты евреи? наконец, кому выгодно, чтобы подобные настроения жили в обществе?

По словам дочери, Иосиф Рабин не сомневался: «мнение» его безымянной читательницы не следует отождествлять с мнением «всех», как делает автор письма. Однако он должен был учитывать в своей работе возможность и такого восприятия собственных книг. Не мог не сознать: антисемитизм — своего рода условие «жизни и творчества» еврейского литератора в этой стране.

Я подумал также о фантасмагоричности ситуации. Не на словах — на деле Иосиф Рабин был «убежденным интернационалистом»: в юности возглавлял в Вильнюсе подпольный горком комсомола, считался когда-то пролетарским писателем, в некоторых своих книгах «отразив ... историю еврейского рабо-

чего движения в дооктябрьский период», воспев романтику революции (см. энциклопедии). А теперь он слышал реалистически циничное: «жид».

Конечно, Иосиф Рабин знал: кроме мучительного молчания есть и другой выход из ситуации — кто-то публично протестовал, кто-то уезжал в Израиль... Но здесь и поставлю точку. Не нам из другой эпохи отвечать на вчерашние «больные» вопросы. К тому же тягостное молчание о сокровенном, может быть, и было подлинной, всегда остающейся трагедией еврейского советского писателя.

Добавлю только: Иосиф Рабин хранил это письмо тридцать лет. Как напоминание самому себе?

1994

ВСПОМНИТЬ НЕ ВСЕ...

*Светлой памяти Дины Харик —
с благодарностью за уроки оптимизма*

Я не сразу понял: она не любит говорить о лагере, тюрьме, собственном аресте и, конечно, аресте мужа.

Не протестует, не перебивает мои вопросы. Только незаметно — может, и для себя самой — переходит к другому.

Она изящна, моложава. Так выглядят люди, которые усилием воли не позволяют себе стареть. Мне и в голову не приходит посчитать в уме ее годы. Точнее — я не успеваю это сделать: она улыбается, и ее улыбка ждет моего ответа.

Видимо, она давно выучилась говорить только о радостном или — хотя бы — приятном. Научилась в любой ситуации отыскивать один резон: все к лучшему!

Впервые подумал об этом, когда крутой лестницей мы поднимались к ней домой. Тут вдруг и услышал:

— Как хорошо, что в подъезде нет лифта!

Заметила мое удивление. Добавила:

— Чудесная тренировка для мышц — хотя бы несколько раз в день!

Отсутствие балкона в квартире? Разумеется, тоже на пользу: по крайней мере не приучишься сидеть в шезлонге, тупо глядя на улицу... Нет, она так не может! Она ежедневно ходит в парк — понятно, не для развлечения: «Знаете, есть такие старухи, которые совсем не следят за прессой, вот я и читаю им самое интересное из свежих газет!»

Среди историй, которые она любит рассказывать, особенно выделяется история ее знакомства с будущим мужем, знаменитым еврейским поэтом.

История мелодраматична, в ней нет и намека на будущую трагедию:

— ...Ну да... я только что окончила тогда еврейский педтехникум. Уже и работать начала — в Минске же, в Третьем еврейском детском саду. А жила в семье подруги, на улице Островского. И вот в августе... ну, да, в августе ... иду на работу. Вдруг вижу: из соседнего двора выходит мужчина: черные кудрявые волосы, изящное пенсне... Мысль моя, как молния: «Это же он, поэт!» Останавливаюсь, смотрю на него. Чувствую его взгляд. Смущаюсь, иду дальше. Но, к своему удивлению, слышу за собой шаги...

Мне интересен ее рассказ, хотя историю эту — пусть в общих чертах — я уже не только слышал от нее однажды, но и читал в минском журнале. Тем не менее, мне по-настоящему интересно: пытаюсь понять, почему этот сюжет так принципиален, так важен для нее?

— ...Он прибегает к хитрости: «Где я мог вас встретить раньше? Вы мне так знакомы». Молчу, растеряна, как никогда. Тогда он ставит вопрос иначе: «Не кажется ли вам, что и вы меня где-то встречали?» Тут смею! И от души смеюсь: «Не кажется. Я видела вас на фотографиях в ваших книгах, на литературном вечере в еврейском педтехникуме...» — «Да, да, — соглашается он, — на вечере. Там я и обратил на вас внимание». Ах, восклицаю про себя, не зря я сидела во втором ряду, вот он и заметил!

Тут она делает паузу, готовя меня к неожиданности:

— Знаете, это оказалось неправдой! Когда мы уже поженились, муж признался: все это он придумал... в ту самую минуту!

Смеется она не по-старушечьи — звонко. Имя у нее, впрочем, тоже звенящее — Дина.

Нет, она не забудет, в каком месте прервалась нить рассказа. Потом она уверенно идет дальше. А я проверяю свою и ее память. Никаких особых расхождений. Видимо, все детали уже не раз тщательно взвешены. Именно взвешены — на редких теперь весах оптимизма. Вот почему детали неизменны, они только переставляются местами — как и отдельные слова, предложения.

Во всем остальном (во всем, что не нарушает интонацию мажора) она легка и свободна. Например, не обходит факты, ко-

торые, по ее мнению, кого-то могут даже смутить, показаться двусмысленными. «Хотя ведь кое-что поэту простительно, не правда ли?»

Оказывается, поэт был ее гораздо старше! Едва ли не вдвое. И очень волновался — пойдет ли она за него? («Вы знаете, раньше у него было много поклонниц. После замужества я увидела целый чемодан писем, среди них — немало от женщин, влюбленных в поэта; одна поклонница даже сидела со мной вместе в лагере. Но, вы понимаете, тут был особый случай: эта любовь его потрясла!») А порой он колебался: будет ли прочным такой брак? Наверное, потому устроил ей смотрины — пригласил своего друга поэта Зелика А. и... его отца познакомиться с невестой.

— ... И, знаете, он ведь опять схитрил! Он все подстроил! Сделал вид, что они — Зелик с отцом — пришли случайно. Как раз тогда, когда я была у поэта в гостях. «Надо же, какое совпадение!» А у него — тоже «случайно» — оказалось прекрасное по тому времени угощение!

Иронизирует. Смеется. Юно блестят глаза.

В ее опубликованных воспоминаниях меня поразила странная пропорция: история знакомства Дины с поэтом, первых встреч, замужества занимает две трети текста. О своей трагедии она не упомянула вообще. И цензура тут была не причем! Журнал вышел в 1988-м. О сталинских репрессиях говорить уже можно было громко, даже модно стало говорить. Но она промолчала.

Впрочем, заметил я, даже о своих детях она только упомянула. (Поездке в Москву вместе с мужем в феврале 1937-го на торжества, посвященные столетию со дня смерти Пушкина, меуаристка уделила втрое больше места.)

— Что случилось с вашими детьми?

Может быть, она хотела поморщиться от моей бестактности. Но сдержалась. И не ушла от ответа, рассказала обо всем четко, хотя без эмоций.

Когда ее взяли в ноябре 37-го, мальчики остались с молодой работницей Маней, потом их отправили куда-то — наверное, как и других детей врагов народа, в специальные детские

дома. Фамилии, как было принято, сменили, мальчики и не смогли бы ее найти — даже если бы остались живы. Юлику было три года, Додику — год и восемь месяцев...

Освободившись в 56-м, она сама начинает искать их — долго, безуспешно.

— Да, числятся, — сказали в органах госбезопасности, — но где — неизвестно. Наверное, погибли.

— Погибли, — повторяет она теперь.

Конечно, соглашаюсь я, погибли. Как жить, как выжить, если думать иначе?

О судьбе поэта ходило когда-то много легенд. Потом иные из них забылись; все было просто — умерли люди, которых это волновало.

Все версии сходились однако в одном: поэт потерял в тюрьме рассудок.

Может быть, его терзало отсутствие логики?

Он воспел в стихах Октябрь, Красную армию, в которой воевал; был искренен: вступив в партию, отдавал все силы тому, что называли строительством новой культуры, являлся членом-корреспондентом Академии Наук Белоруссии, членом Президиума Союза писателей СССР, членом Президиума и председателем еврейской секции Союза писателей БССР... Солидный перечень, хоть и не полон.

Говорят, поэт сутками напролет метался по камере, кричал одно и то же, по-еврейски и русски: фарвос? За что?

Ответа, разумеется, не было.

Она подтверждает: все так. И продолжает — быстро, глядя куда-то в окно.

Недоумения поэта начались, конечно, раньше. Не мог понять, за что его травят на собраниях, почему арестовывают друзей.

В 37-м доходит очередь до него самого. Он был тогда в Доме творчества, в Пуховичах. А поздно вечером, в тот же день, явились с обыском в их городскую квартиру. Все перерыли, опечатали комнаты, ей с детьми оставили кабинет.

Через месяц, совсем неожиданно, — письмо от мужа: я не виноват; надеюсь, разберутся, скоро встретимся, береги детей.

Много лет спустя человек, сидевший с поэтом в одной камере, рассказывает ей: ценой этого письма было признание поэтом мнимых своих «преступлений».

Передачу, которую она отнесла в тюрьму, не приняли. А поэта расстреляли в Минске 29 октября 1937-го. «Как вы думаете, — спрашивает она снова, — может быть, не хотели держать в тюрьме сумасшедшего?»

Говорили: перед расстрелом его вместе с другими арестантами отвели в баню; там, не понимая, что делает, он обварился кипятком; стонал, кричал — мучился, видно, сильно. «Как вы думаете, может, просто не захотели лечить?»

Старое горе захлестывает ее — словно морская волна. Но она умело справляется. Успевает.

— ...Я сидела в той же тюрьме, — рассказывает, угощая меня пирожками. — ...Правда, вкусные? Особенно вкусно, если запивать их каким-нибудь соком.

Наливает мне сок граната, предварительно ошпарив чашку кипятком. Чайник в ее кухне кипит на плите всегда. Это — привычка. После того, как в сорок пятом переболела в лагере бруцеллезом. О кипятке: «Между прочим, очень полезно: всегда есть гарантия, что убиты микробы».

Ее почти не таскали на допросы. И так было ясно: жена врага народа.

Однажды она спросила у следователя: «Как же так? Ведь поэт писал советские стихи...» Тот снизошел: «Стихи-то советские, сам автор — нет».

Когда через девятнадцать лет она возвратится в Минск, окажется: почти все ее родные погибли во время войны — по дороге в эвакуацию (случайно спаслась сестра).

Но ей помогли, очень помогли белорусские друзья мужа, особенно Петрусь Бровка. Вот и квартиру получила, и сборники поэта переиздала... «А на гонорары сумела купить это...» Она обводит рукой небольшую комнату, которая — кажется ей — обставлена очень богато, на самом деле — совсем скромно. Она особенно гордится старым пианино:

— Представьте себе, я до сих пор играю! В лагере, правда, забыла многое — и идиш, и ноты. Но это было интересно — возвращаться, восстанавливать утраченное. Только вот английский не вернула.

Когда в начале девяностых я время от времени приезжаю из Вильнюса в Минск, Дина Звуловна настойчиво приглашает в гости.

Ах, она-то уж понимает важность моей задачи: записать рассказы оставшихся в живых деятелей еврейской культуры, их жен и детей...

Мы могли бы встречаться в еврейской библиотеке, которой она заведует?

— Нет, нет, приходите лучше ко мне домой... Этот город для вас чужой, так хоть отогреетесь чаем. Как раз вчера купила такие вкусные конфеты!

За чаем она опять читает стихи поэта, на этот раз — в переводе Анны Ахматовой:

Я не горюю, нелюбимый славой,
К моим следам никто не припадет...
Теперь, когда сердца пылают лавой,
В моих стихах — сведенный гневом рот.

Я не удивлен, в очередной раз столкнувшись с пророчеством поэта: стихотворение написано в двадцать пятом году, но кажется — он предвидит свою судьбу.

Меня завораживает несоответствие между тональностью стихотворной строфы и мажорной интонацией женского — совсем юного — голоса.

Кипит, кипит на плите чайник.

...Спустя годы пойму: образ поэта, тяжело прозревающего истину, необходим, неизбежен в рассказе о его нестареющей жене.

Образ этот «догонит» меня в Чикаго — именно здесь я познакомлюсь и подружусь с искусствоведам и переводчиком Ванкаремом Никифоровичем; а однажды он познакомит меня с собственным переложением стихотворения поэта «Вечер»:

Вечер... И теплые росы.
Все притаилось во мгле.
С тенью своей темнокошой
Тихо бреду по земле.

Я осторожно ступаю, —
Травы все спят на лугу.
Надо молчать, — понимаю,
Но не запеть не могу.

Мне бы дожидаться рассвета
И — ни о чем не жалеть.
Думаю только об этом...
Дай, Боже, песню допеть.

Но вернусь в лето девяносто первого, в Минск.

Отправляюсь по делу в музей истории Великой Отечественной войны. Дина Звуловна вызывается меня проводить и помочь — познакомить с музейными работниками, среди которых у нее есть друзья.

Солнечный день. Долго — не менее часа — идем по центральной улице. И тут-то она жалеет меня: предлагает научить тому, как вызывать в себе чувство бодрости и легкости. Она хочет подарить мне это чувство навсегда. Она рассказывает о придуманной ею системе гимнастики (система проста, некоторые гениальные приемы она угадала, не зная, что они существуют давным-давно). «...А после водных процедур надо обязательно растираться особым способом — не сверху вниз, а снизу вверх».

Я не сумел испортить праздник, даже когда вспомнил про лагерь. Конечно, говорить об этом в такой день не очень уместно. Ведь про лагерь невозможно — в светлых тонах. Но она и тут находит оптимистический ракурс. В лагере с ней происходили чудеса! Например, она чудом исцелилась от бруцеллеза, хотя уже год не стояла на ногах. Вообще в лагере ее всегда хранил Бог, спасение часто приходило в последний момент, несколько раз ей удалось избежать жуткого насилия.

— ...Однажды меня назначили дежурной по бараку. Все должны были уйти на работу. Оставались в бараке только я да надзиратель-казах. Я знала: он — негодяй и насильник. Что делать? Одна добрая моя подруга (гораздо старше меня) помча-

лась в медпункт, упросила врача, пожилого еврея, посидеть со мной... Он потом и рассказал: у того надзирателя был сифилис в третьей стадии, многих зараженных им женщин отправили в другие лагеря...

Она припомнила еще пару случаев чудесного своего спасения. Но вот опомнилась — улыбнулась, словно стерла собственный рассказ: «...Знаете, все плохое в нашей жизни так похоже на сон. Вам не кажется?»

Она идет, опираясь на мою руку, — энергично, чуть подпрыгивая в такт своим словам.

Есть ли символ в том, что случилось вскоре?

У самого музея она внезапно пролетает вперед, ее рука отпускает мой локоть.

И вот она уже лежит на тротуаре — во весь рост; огромная ссадина на щеке, сильно разбита нога. Помогаю ей подняться, бегу в музей — выпрашиваю йод, бинт; делаю перевязку.

От такси резко отказывается. А в троллейбусе продолжает о чем-то говорить... И — никаких жалоб, обычный ее смех.

Думаю тогда: это ведь схема ее жизни — падение, раны, улыбка.

1992, 2003

(Чтобы читатель не рылся в энциклопедиях, сообщу: моя собеседница Дина Звуловна Харик — вдова поэта Изи Харика.)

ПОЛЕТ ОДИНОКОЙ ПТИЦЫ

В первые дни марта 1998-го я получил из Германии плотную стопку машинописных страниц. Это были воспоминания писателя Владимира Ильича Порудоминского. По странному, а, может быть, символичному совпадению повествование называлось: «В начале марта». Читателю, пожалуй, многое станет яснее, если я упомяну и подзаголовок: «Семейные мелочи 1953 года».

Весна в Чикаго — едва ли не единственное время, когда легко и спокойно дышится. Но, знакомясь с записками Порудоминского, я задыхался: текст был пронизан страхом — неотвратимым и едким, как дым крематория. Владимир Порудоминский рассказывал о собственных хождениях по мукам, в которое для него превратилось устройство на работу в самый разгар «дела врачей». Еврейский юноша, вернувшийся из армии, а до того окончивший редакторский факультет, ощущает плотную, хоть и незримую, стену, выросшую между ним и миром. Ну а откуда эти два слова в подзаголовке — «семейные мелочи»? «Конечно, *мелочи!* — настаивал автор. — ...Совость не позволяет поименовать их иначе в пространстве и времени, где, по давнему слову, взглянув окрест себя, видишь страдания человеческие, горе и гибель».

Я думал тогда и о редком таланте мемуариста: его необычайно пластичный стиль схватывал и объединял в одну картину пронзительные портреты, случайные словечки, неслучайные умолчания эпохи, когда многое точно прочитывалось между строчками партийной газеты. Однако я не догадывался: эти воспоминания положили начало замечательной, поистине своеобразной прозе Порудоминского.

Иногда спорят: что же дает литератору эмиграция? Голоса спорящих, как правило, пессимистичны. А я часто вспоминаю при этом старого писателя Владимира Ильича Порудоминского: именно в эмиграции он обрел подлинное бесстрашие поисков.

Отвечая на одну из анкет, Порудоминский как-то написал: «Признаюсь, когда я уезжал из России, я был убежден, что моя активная жизнь, тем более профессиональная работа, завершена, и предполагал совсем иной сценарий своего дальнейшего существования. Но здесь я почувствовал раскрепощение, освобождение от многого, что меня угнетало, мешало в каждый данный момент жизни наиболее полно выявлять себя».

Кого-то это признание могло удивить — могло даже показаться: автор отодвигает от себя свои старые работы. Между тем в книгах Порудоминского никогда не было и налета конъюнктуры. Книги эти, выходившие в популярных сериях «Жизнь замечательных людей», «Жизнь в искусстве», «Писатели о писателях», открыли тысячам, если не миллионам, читателей биографии, судьбы, художественные миры: Владимира Даля и Всеволода Гаршина, Николая Ге и Михаила Врубеля, Карла Брюллова и Николая Ярошенко, Ивана Крамского и Александра Полежаева, Ивана Пущина и Александра Афанасьева, Николая Пирогова и Ивана Голикова...

И все же Владимир Порудоминский был абсолютно прав, рассказывая о своем «раскрепощении» в эмиграции.

Говоря о работе писателя, часто вспоминают приветствие, которым обменивались в начале двадцатых годов прошлого века в Петрограде члены литературной группы «Серапионовы братья»: «Здравствуй, брат! Писать очень трудно...» Полезно однако задуматься — в чем трудность? Разумеется, не просто изо дня в день водить перышком по бумаге или часами сидеть у компьютера, ища точный образ. Но гораздо тяжелее отыскать — в самом себе! — новые творческие возможности, решительно уйти от себя прежнего. С каждой новой вещью «начинать все сначала», словно и не было десятилетий литературного труда.

Я не раз размышлял о том, почему проза Порудоминского, которую он стал писать в эмиграции, до сих пор по-настоящему не оценена, а его художественные открытия не осмыслены критикой. Причин тому две. Почти все, что публикуется писателями-эмигрантами, традиционно проходит мимо столичных рецензентов: в их представлении эмиграция — это далекая, скучноватая провинция. К тому же в самих произведениях Владимира Ильича есть свойство, делающее их как бы не слишком приметными.

В предисловии к книге Порудоминского «Пробуждение во сне» прекрасный поэт и критик Татьяна Бек так описывала свои попытки найти ключ к «загадке» этой прозы, жанр которой подчас трудно определить: «Литература повышенного правдоподобия? Автобиографическая эссеистика? Словесный рисунок с натуры? Так или иначе — перед нами лирическая проза, где повествователь (он же — главный герой) чрезвычайно близок к автору, но не тождествен с ним, ибо не эгоцентричен. Он сгущает в себе время, пространство, историю...»

Не знаю, формулировал ли когда-либо Порудоминский главную тему своих исканий. Но для меня очевидно: его прежде всего увлекает художественное *исследование памяти*. Один из его персонажей, в голосе которого легко узнаю интонации самого Владимира Ильича, размышляет: «Иногда я думаю, что это не мы по собственной охоте... вспоминаем прошлое, а оно требовательно напоминает нам о себе. Ведь оно только и живо, пока живем мы... Нас становится все меньше, и оно сужается, уходит, перестает существовать вместе с нами». Это одно из многочисленных определений памяти в прозе Владимира Порудоминского. Так — легко, вроде бы, между прочим — рождаются сюжеты его повестей и новелл «Похороны бабушки зимой 1953 года», «Пробуждение во сне», «Короткая остановка на пути в Париж», «Позднее время», «Трапезы теней», «Частные уроки».

Меня завораживает в этих вещах *течение* жизни. Иногда кажется: *течение* это бурно, непредсказуемо. Но потом, приглядевшись, замечаешь в происходящем четкий, хоть и не сразу различимый, *жизненный план*. Я почувствовал это в одной из первых повестей Порудоминского «Неоконченная соната». Героиня повести, пианистка, бессильно пытается ответить на вопрос: почему и для чего она выжила в Холокосте? Пытается уловить какой-то высший смысл в том, что произошло с ней (в гетто девочку-вундеркинда неожиданно спасла музыка). Смысл? Да ведь он прост: искать ответ. И по-своему выражать эти поиски в музыке. «За двадцать лет скитаний она поняла, сперва чувством, а после и умом, что, только постоянно передвигаясь по белу свету, она всюду своя...» Останавливаясь, героиня «тотчас начинает чувствовать себя пчелой, которую видела однажды в энтомологическом заповеднике: пчела жила в улье, но была отделена от

роя стеклянной стенкой». Героиня приняла странную неизбежность такого *ритма* своей жизни. Не поняла только: это и есть *ответ*.

Холокост подчеркивает, обостряет тему памяти.

Течение жизни, вдруг обнажающее истину, захватывает нас и в маленьком шедевре Порудоминского «Розенблат и Зингер». Мемуарный зачин опять максимально приближает к читателю происходящее. И вот они перед нами — двое погонщиков ослов в Ташкенте. Усмешка судьбы? Когда-то богатые торговцы бельем в Берлине и Вене, они теперь не имеют даже постели — спят на полу, в конуре под лестницей, в «каком-то логове из соломы и тряпья». Зато они, убежавшие от нацизма, владеют наконец-то истиной и даже пытаются передать ее еврейскому подростку из Москвы — тот, по счастью, бойко говорит по-немецки. Мальчик тоскует: в эвакуации он впервые столкнулся с антисемитизмом, а ведь «еще недавно я часто слышал от близких, что у нас, в Советском Союзе, мы позабыли, что мы евреи...»

Истине несколько тысяч лет, однако люди упорно отталкивают ее от себя. «...Розенблат смотрел на меня с сожалением; его веки были докрасна выжжены чужим азиатским солнцем. — Мальчик, — повторил он, — забыть есть взаимное дело. Мы тоже забыли когда-то, что мы евреи. По воскресениям Розенблат надевал черный фрак, цилиндр на голову, садился в коляску и ехал в кирху. Немцы улыбались мне и говорили: «Гутен таг». И я улыбался немцам, приподнимал цилиндр и говорил: «Гутен таг». Но на другой день после прихода Гитлера оказалось: немцы не забывали, что я еврей. Они уже не говорили мне: «Гутен таг». Нельзя забывать, мальчик, что ты еврей, раньше, чем это забудут другие».

Почему еврейская тема неожиданно стала насущной для писателя («еврейские» вещи Порудоминского составили его сборник «Уходящая натура»)? Автор ответил на этот вопрос в одной из статей: «Мартин Бубер называл евреев “общиной, основанной на памяти”».

...В часы бессонницы я не раз в эти годы напоминал себе: в Кельне уже утро; спрашивал мысленно: что делает сейчас мой старший друг? Что у него нового? И, конечно, думал о «загадке Порудоминского»: разумеется, она не в сложных координатах его новой прозы, а в блистательной и всегда таинст-

венной победе творческого духа над временем, которое жестоко, как ненужный листок календаря, обрывает наши дни, труды и намерения.

Когда-то Порудоминский написал вместе с историком и писателем Натаном Эйдельманом работу о болдинской осени Пушкина. Не сомневаюсь: эмиграция стала его собственной болдинской осенью. Я не пытаюсь сейчас даже перечислить сделанное им за эти годы.

Восемь лет Владимир Порудоминский обрабатывал и готовил к печати уникальный дневник, который вел в Виленском гетто его дядя Григорий Шур. Книгу перевели на многие языки, она имела шумный успех. А Владимир Ильич писал позже: «Близкое знакомство с материалами Катастрофы — одно из сильнейших переживаний моей жизни». Добавлю: это и важнейший источник его тихой, но зачастую потрясающей читателя еврейской прозы.

Меня ничуть не удивило то, что наряду со вселенской еврейской болью Порудоминского притягивала в те же годы и немецкая боль. Над книгой «Планк, сын Планка. Фрагменты ненаписанной биографии» Владимир Ильич начал работать, точно услышав чей-то негромкий голос. Оказалось, что в доме, где поселилась его семья, хранятся материалы о жизни Эрвина Планка. Сюжет этой трагической судьбы вобрал многое: Эрвин был сыном знаменитого физика Макса Планка, умным политиком, последним управляющим делами правительства Германии (до прихода к власти Гитлера), участником немецкого Сопротивления, наконец, был казнен после покушения на фюрера в июле 1944-го.

Именно в эмиграции Порудоминский подвел итог своим долголетним исследованиям о Толстом. Я держу сейчас в руках три книги Владимира Ильича, посвященные великому старцу из Ясной Поляны. Помню, меня поразила работа Порудоминского «Цвета Толстого» — свод необычайно интересных наблюдений о том, как в зависимости от эмоционального состояния героев меняются краски писателя. А книгу «Если буду жив или Лев Толстой в пространстве медицины» я уже давно вновь и вновь перечитываю — погружаюсь в космос Толстого: там по-своему сосуществуют и спорят «диалектика души» и «диалектика тела».

За героями и сюжетами произведений читатель, как правило, редко замечает автора. Одну из лучших своих книг Владимир Порудоминский назвал, вспомнив строчку псалма, — «Одинокая птица на кровле». Мне показалось: здесь есть и его негромкая исповедь, и своеобразная формула «жизни и творчества» художника.

...Все мы — в том числе и писатели — приходим в этот мир со своей особой миссией, которую должны осознать и исполнить. Эта мысль, повторяясь, тревожно звучит в книгах Порудоминского о строителях и хранителях русской культуры. Но о собственной миссии он, всегда избегая пафоса, говорить не любит.

Я позвонил ему через несколько дней после того, как ушла из жизни Надежда Васильевна — жена, друг, бесконечно дорогой ему человек. Даже через океан я почувствовал, как ему тяжело сейчас. Но Владимир Ильич произнес, думая о своем: «Надя уже свободна, уже выполнила свой урок».

Так сказать мог только человек, глубоко верующий в Создателя и в Его высший замысел.

ЧЕЛОВЕК И СУДЬБА «ПО ТУ СТОРОНУ СЛОВ»

Когда в середине восьмидесятых я познакомился с литовским поэтом Альфонсасом Буконтасом, я не догадывался: та встреча заставит меня многое в жизни переосмыслить...

Наверное, это показалось бы странным и самому Буконтасу. Повлиять на ход чужой жизни? А он избегал даже резких движений, морщился, услышав громкие голоса. Долгие десятилетия существовал, словно не выходя из тени. Конечно, читатели Литвы знали Буконтаса как своеобразного лирика, блистательного переводчика древней и современной поэзии. Но примечательно: он никогда не участвовал в дискуссиях, чурался споров, месяцами не заходил в Союз писателей, а порой вообще исчезал из поля зрения, даже друзья гадали — то ли Альфонсас уехал в родную деревню, то ли не хочет отвечать на звонки...

Я нарисовал портрет типичного чудака? Все, однако, не так просто. С юности Буконтас научился легко отбрасывать суету жизни, потому что привык ежедневно ждать смерть. Она могла прийти в любую минуту.

Серьезная болезнь сердца во многом определила его характер, был, но — одновременно — обострила восприятие мира... Разумеется, характер остался прежним и после того, как произошло чудо: немецкая журналистка Mariana Butenschon написала об Альфонсасе серию статей, собрала деньги для того, чтобы он смог приехать в Германию, нашла хирурга, который бесплатно сделал операцию... Недавно Буконтас написал мне: «После моей операции прошло десять лет, все эти годы были мне подарком».

Но я, кажется, забежал вперед? Помню, тогда, в восьмидесятые, прекрасная украинская поэтесса София Майданская, с которой мы часто говорили о сочленении космического и национального в творчестве, не уставая, твердила мне:

— Вы обязательно должны познакомиться с Альфонсасом Буконтасом...

Я не понимал причину такой настойчивости. А София не отвечала. Может быть, как большинство поэтов, она просто обладала даром предвидения.

В те годы я все глубже погружался в иудаизм, начал записывать устные рассказы советских евреев. Мне казалось: история «евреев молчания» (так назвал своих соплеменников в СССР нобелевский лауреат Эли Визель) скрывает в себе множество тайн.

Пора уже сказать: с тайны началась жизнь Альфонсаса Буконтаса. Многие годы тайна оставалась неразгаданной.

1

В иудаизме есть такое понятие — «украденные дети». Это словосочетание сразу отзывается в сознании резкой болью. Суть не меняется оттого, что внутри понятия — метафора: речь — о людях, воспитывавшихся в отрыве от национальной традиции. Увы, большинство евреев, родившихся в СССР, были именно «украденными детьми»...

Так бывает не часто: «случай Буконтаса» типичен и уникален — одновременно. Альфонсас не раз рассказывал мне свою историю, однажды я записал ее на магнитную пленку. История эта вполне может стать сюжетом большого романа, однако попытаюсь передать ее коротко.

В его документах очень долго значилось: родился 11 сентября 1941 года в деревне Дапшай Мажейкяйского района Литовской Республики в семье Яронимаса и Марии Буконтасов. Скажу сразу: это были святые люди — они спасли ребенку жизнь. Тем не менее документы лгали. Правду Альфонсас начал узнавать подростком — постепенно, мучительно: его настоящими родителями были евреи. Когда в 54-м году он приехал продолжать учебу в соседнее местечко Жидикай, здесь многие помнили его отца-адвоката и мать-зубного врача, его шестилетнего брата (их всех уничтожили в годы войны). Альфонсас уже был влюблен в литературу, почти каждый день приходил в библиотеку: оказалось, там до войны жила его семья...

В этой истории потрясает не только трагический сюжет, заметный всем; поражает то, что казалось людям обычным, са-

мо собой разумеющимся. Так естественно для себя местный ксендз Вацловас Мартинкус разрабатывает и осуществляет план спасения еврейского малыша: отправляет его на дальний хутор, там крестит, потом стойко выдерживает допросы в полиции. Литовские фашисты грозят сестрам Марии Буконтене и Елене Лаурайтене расстрелять их семьи, но те, не колеблясь, отказываются отдать ребенка. Сложную игру несколько лет ведет Яронимас Буконтас: он задабривает немцев и полицаев деньгами, водкой, бесконечными застольями... В конце концов это и становится причиной его гибели: когда в Литву вернулись Советы, Яронимаса арестовали по обвинению «в сотрудничестве с немцами». Из лагеря он не вернулся.

Не забудем однако: тут есть еще один сюжет — «история души» еврейского мальчика. Этот сюжет, в основном, разворачивался уже после войны.

Еврейский мудрец ребе Рашаб сказал когда-то: люди состоят из трех слоев. Есть «внешний человек». Есть «средний человек». Есть «внутренний человек». Сколько бы ни испытывала, сколько бы ни ломала нас среда, лишь первые два слоя могут быть повреждены. Внутренний же человек никогда и ничем не может быть исковеркан. В рассказе, который я записал на магнитофон, Альфонсас на редкость точно реконструирует жизнь своего «внутреннего человека». Вот несколько фрагментов оттуда.

«Реальный мир моего детства — это большой деревенский дом. Я ощущал его почти как живое существо. Хорошо знал все его звуки, помнил запахи. Мне казалось, он был огромным и — при необходимости — мог вместить очень многих людей. Когда в деревню приезжали командированные — ветеринар, трактористы, учителя, инженеры — председатель колхоза всегда направлял их к нам. И чистые, светлые комнаты дома открывались навстречу новым и новым людям... Дом был добрым».

Тепло добра согревало душу:

«Я помню те первые дни, когда с нами жил отец... Игры с ним, прогулки по саду, среди полей... Помню, как сказочно цвел горох... Неподалеку был большой пруд, где водилась рыба».

Однако мир сразу оказался расколотым, в душе жила не только любовь — очень рано поселился страх:

«Я всегда чувствовал, что чего-то должен избежать. Мне было хорошо среди близких, но когда в доме появлялись чужие, знал: нужно уйти, спрятаться».

Дело не только в таящейся — почти всюду — опасности. «Украденный ребенок» безошибочно фиксирует свою чужеродность окружающему миру. Это резко проявляли праздники:

«...В большой комнате собиралось очень много людей, накрывали праздничный стол, пели... Я опять уходил: мне становилось так одиноко, что я плакал. Даже сами песни казались чужими. Я чувствовал, что отделен от всех большой стеной... В дни массовых национальных гуляний все повторялось. Я ощущал, как остаюсь в стороне... И никак не мог себе этого объяснить. Наверное, то было что-то глубинное, какая-то — совсем другая, чем моя, — эстетическая волна подхватывала всех, кроме меня».

Самонаблюдения «украденного ребенка» погружают нас в глубины человеческой психики:

«Бывали минуты, когда для меня начинали странно звучать литовские слова. А их смысл как бы не совпадал со звучанием. Этот язык, его жемайтский диалект, казался грубым для моего уха».

И еще одно слово царапало слух. Слово, значение которого он долго не понимал:

«В школе, на переменах, дети, пробегая мимо, дразнили меня: жид, жид!»

Бывало тоже: играем и кто-то вдруг вымолвит это слово.

Вроде бы, все выглядело почти невинно. Но я чувствовал: тут — какой-то знак, который понимают все, кроме меня.

А, случилось, ребята окружают меня, выговаривая каждый по одной букве: ж-и-д. Стоят и громко так повторяют. Причем, опять-таки на их лицах я часто не замечал никакой злобы. Но в моих ушах, не переставая, звучал тот беззлостный смех...

Когда я был первоклассником, меня однажды взял на руки мальчик, учившийся в четвертом. Он долго и, я бы сказал, нежно носил меня по коридору. Потом о чем-то вдруг вспомнил и — резко отбросил меня. Я упал, сильно ударившись о скамейку».

Альфонсас подчеркивает: то были своего рода сигналы; они заставляли работать мысль. Но мысли наслаивались, перебывали одна другую:

«Почему я так не похож на родных? У меня лицо смуглое, а у них — светлые. И — волосы, конечно: все мои двоюродные братья и сестры — блондины. Мама, правда, имела темные волосы, но все равно, убеждался я, сравнивая: они — совсем не такие, как у меня...»

Все было окутано тайной. В тайну — как конфета в фантик — было завернуто мое детство.

Я часто думал о том, что появился в этой литовской деревне случайно — ненатурально, неестественно, если можно так выразиться.

Тогда кто я? Откуда?

Повторяю, я боялся этой тайны, очень не хотел к ней приближаться».

Он рано стал задавать себе и другой вопрос: кто такие евреи?

«Взрослые (нет, конечно, не мои родные) рассказывали о евреях анекдоты.

Рассказывали также истории, от которых все внутри холодело. Например, говорили: евреи пьют христианскую кровь...

Мне было семь или восемь лет, когда я понял, что имею какое-то отношение к евреям. Стало страшно. Ведь евреи — плохие люди: убийцы, спекулянты... С тех пор это чувство годами не покидало меня. Чувство страха из-за сопричастности к грязному, нехорошему. И — по той же причине — одиночество».

Он мучительно искал выход, но всюду видел тупик:

«Время от времени все как бы отдалялось от меня — природа, близкие люди... И казалось: никто мне не в силах помочь. Будто я остался один на маленьком-маленьком острове».

Состояние души странным образом перекликалось с жизнью природы:

«Ощущение, что мир враждебен мне, повторялось при смене времен года.

Я вдруг слабел. Тишина начинала звенеть. И мир опять отодвигался от меня все дальше и дальше.

И опять я был на маленьком острове. Совсем один».

А еще он видел сны:

«В снах моих за мной гнались звери, чужие люди... Скакали, скакали кони».

2

...Совсем по-другому, но так же обнаженно и резко «история души» представала в стихах Буконтаса.

Он уже вырос, уже поступил в Вильнюсский университет — изучал литовский язык и литературу. Мир рядом с ним был чужим и холодным? Однако творчество, как всегда, преодолевало одиночество. Мир сузился до размеров маленького острова, куда его забросила пучина человеческой ненависти? Может быть, потому Альфонсас так упорно раздвигал пределы земного — настойчиво пытался открыть для себя Вселенную:

Хочу соединить
птицу и камень,
темноту и свет,
утрату и надежду...

Берега несоединимые,
начало и конец
хочу соединить.

Раздул
в долине костер
после долгого ливня.

Слышал ли мой голос?
Видел ли, как кружатся
мельницы звезд?
Приходи по мостику,
который я тебе строю,
приходи, потому что я должен уйти.

Горячим углем на воде
напиши мое имя.

(Цитирую переводы с литовского Сергея Карнеева).

Здесь было не просто обращение поэта к современнику, собрату по Вселенной. Здесь была не только творческая программа. Здесь звучал голос «украденного ребенка», который наконец выходил на дорогу духовной свободы. Как и все евреи, начинал свой путь по «пустыне».

Конечно, я легко расслышал у литовского автора переключку с гениальным американцем Уолтом Уитменом. Стихотворение «Мосток» написано в давнюю уже пору юности. Молодой поэт по-уитменовски остро воспринимал вечность, перед ее лицом ощущал себя почти демиургом. Он стремился разглядеть космос в душах людей, а в звездах — человеческое. Отсюда столь органичное для поэзии Буконтаса доверие к каждому встречному:

«Пойду с тобой погулять по дню, в котором уже никто не живет. Неужели тебе чего-то жалко? Неужели хочешь бросить слово на мостовую? Опирайся, опирайся на меня и смотри в пустоту. И вот мы оба свободны от уз, без ветвей, без стволов — семена и звезды. Из наших плеч, из глаз и из губ вылетают птицы рассвета».

Читая эти строки, я опять представлял юношу из обычной литовской деревушки. «Украденного» еврейского ребенка, самостоятельно пытающегося обрести почву и корни. Нашедшего их во Вселенной. Потрясшие его уитменовские «Листья травы» надолго определили направление творческих поисков. Здесь, впрочем, не могу удержаться от одного замечания «по поводу». В то время наша критика нередко вульгарно трактовала проблему традиций в литературе. Помните? Заметив в чьих-то стихах влияние Маяковского, критики говорили об этом, точно награждая автора орденом. Иные традиции считались опасными, вредными для «растущего дарования». А порой «вопрос о традиции» сводился к эпигонству, подражательству. Между тем речь (если перед нами подлинный талант) — о единстве мироощущения, подчеркну: речь о направлении поисков...

Уходя в беспредельность пространства и времени, А. Буконтасу было порой легче, чем его литературным сверстникам, задавать резкие, порой беспощадные вопросы. Вот когда оценишь преимущества подобного, «космического», взгляда! Толь-

ко в космосе впору попробовать отодвинуть мысленно в сторону ценности цивилизации. И задуматься: что есть человек? В чем его сокровенная суть? В чем его неповторимая миссия? Именно об этом были многие стихи Буконтаса, в том числе — «Снежный человек»:

«...Я — голый: возраста нет, фамилии нет. Днем прикрыться стараюсь, но — тщетно: молния между будущим и прошлым — это стыд мой. Как подумаешь: то же самое все теряют, ищут того же. Истина ходит — на белой равнине следы босых ног. Кто ушел, впопыхах не обувшись? Чьи следы на снегу? Чьи — на бесстрашной бумаге?..»

Законы космоса можно постичь по-разному. Можно вычитывать их в священных книгах древности. Можно открыть самому, прислушиваясь к ритмам Вселенной. Это и делал лирический герой Буконтаса. Разумеется, он видел равновеликость живой и неживой природы, равнозначность взаимоисключающих, кажется, начал бытия. Понимал (может быть, вспоминая детство), как опасно раз и навсегда давать имена — «перелескам, камню, шмелю, тому человеку из зеркала». Может быть, это и есть главная ошибка на нашем пути, главная ошибка человечества — дробить единый мир, наклеивать повсюду этикетки:

Чувствую, как только вернутся названия,
мы ударимся друг в друга,
и будет небо сплавлять
бесконечная река по бесконечной равнине.

Поэзия Буконтаса многократно фиксирует, что происходит, когда вечные законы нарушаются. В стихотворении «Песня Хорста Весселя» мы встретим солдат, словно ослепших от силы и оружия. Потом «открытыми ртами они продолжают песню уже под корнями». А о чем стихотворение «Памятник»? О защите гибнущей природы? Нет, о самоубийстве человечества, коль все мы есть «природа» — раз превращаемся однажды «в землю, в воздух или в звенящие реки».

Сознание художника не губка: оно вбирает в себя только то, что может и должно вобрать. Только то, что отвечает внутрен-

ней логике развития творческой индивидуальности. Я говорю об этом, припоминая, как Буконтас воспринял опыт многих предшественников. Вот Тадеуш Ружевиц: его стихи и рассказы Буконтас открыл литовскому читателю. Ружевиц утверждает: поэзию надо создавать из «ничего», из самых простых слов. Альфонсасу Буконтасу была близка эта творческая установка. Но для него важно и другое — взглянуть: что за словом? Взглянуть — даже не в глубь явлений, событий, поступков — в глубь образов, предощущений. Обычный сюжет его стихотворений. Одно так и называется: «По ту сторону слов». Опять перед нами работа поэта, который «из удивлений» тклет «то дерево, то сон, то жар прикосновений, то тварь живую, то страданий дрожь». Замечу: концовка стихотворения не точно переведена С. Карнеевым.

У Буконтаса:

Твои слова уже не обозначают ничего...
Только пространство и тишина...
Только полет остается...

У переводчика:

Подобна взлетной полосе строка.
Вот взреял. Полетел. А цель так далека...

«Только полет остается...» Вот что прежде всего открывается поэту «по ту сторону слов».

Разумеется, космическая традиция в мировой лирике началась не с «Листьев травы». Это подчеркнул еще Г. Торо, читая книгу Уитмена: «Странно, что он так похож на индийских пророков...» К древнему Востоку, не имея других ориентиров, закономерно пришел в своих исканиях и Буконтас. В семидесятые годы он начал изучать «Упанишады». Тогда же надолго перестал писать собственные стихи. Это с тревогой отметили критики и читатели. А я (конечно, задним числом) не удивился. На Востоке, когда художник или поэт уходил в монастырь, он на десятилетия, если не навсегда, отказывался от творчества, давал своего рода обет молчания. Цель? Прислушаться к своему «я», обрести связь с Богом — может быть, потом обрести и собственный голос.

Правда, в те трудные, но, как оказалось теперь, плодотворные для него годы Альфонсас Буконтас продолжал заниматься переводами. Это была не только серьезная, важная для литовской культуры работа. Тут был и давно замеченный парадокс: путь в чужую культуру иногда тоже приводит художника к самому себе. Переводя философскую лирику Пушкина, он снова задумывался о призвании поэта. Блоковский цикл, посвященный Кармен, привлёк музыкальностью, хотелось попробовать: как это прозвучит по-литовски? Буконтас воссоздал на родном языке стихи многих поэтов, которые когда-то жили в его крае, — поляка К. Галчиньского, немца Ф. Брауна, белоруса М. Танка, караима С. Фирковича... Я мог бы перечислить немало имен и произведений, но упомяну еще сейчас только сонеты и терцины русского философа Льва Карсавина: тот слагал их незадолго до смерти в сталинском лагере, прозорливо не сомневаясь — его голос расслышат. Так и оказалось: А. Буконтас разыскал произведения Карсавина в одном из вильнюсских архивов.

И, конечно, он переводил тех, с кем вел — через десятилетия или века — беспрестанные мысленные диалоги. В этом сокровенном ряду была и поэма Н. Рериха «Наставление ловцу, входящему в лес», и знаменитая «Бхагавадгита». Пожалуй, здесь имелся даже свой символ: с переводом великой Гиты, в которой, как в фокусе, сходятся главные философские идеи Индии, закончился период «молчания» поэта Альфонсаса Буконтаса.

3

...Не забудем: «украденный ребенок» постепенно возвращался в семью. *«Все это время, — рассказывал Альфонсас, — я ощущал себя человеком, идущим по пустыне. Причем мой путь длился не сорок лет — гораздо дольше. Однажды я понял, что не сумею выйти из пустыни, если сам не осознаю: ради чего мне дано такое испытание?»*

Еврейской семье несколько тысяч лет, ее родоначальником был наш праотец Авраам. Это звучит выпренно, кажется сказкой? Не сразу, но очевидно Буконтас пришел к пониманию концепции времени в иудаизме. Очень конкретными оказались

слова мудреца наших дней, каббалиста Адина Штейнзальца: «События не тонут в реке времени, подобно камням, просто течение относит нас от них».

Из намеков, обмолвок, случайных разговоров, внезапных признаний он воссоздавал для себя историю своего спасения, историю жизни и смерти родителей — приближался к ним.

Опять — неожиданно — помог ксендз Вацловас Мартинкус. В конце войны ему удалось эмигрировать на Запад, теперь он жил в США, иногда писал в Литву. Мартинкус спрашивал о судьбе спасенного им ребенка, потом стал переписываться с самим Альфонсасом (увы, письма читали и в КГБ, затем шантажировали ими Буконтаса и его друзей). Мартинкус присылал подарки, одежду. Рассказал о местечке Жидикай: перед войной там было около 230 евреев; поведал о событиях лета 41-го. Один раз Мартинкус сумел спасти евреев Жидикай от расстрела — он остановил намечающуюся акцию, решительно потребовав от офицеров германской армии предъявить решение суда. Однако несколько месяцев спустя, когда через местечко шла уже другая часть, ксендза никто не стал слушать: ему пригрозили расстрелом — вместе с евреями, которых он так защищал...

(Конечно, Мартинкус рассказывал и о своей сегодняшней жизни — это был для Альфонсаса невольный урок: кроме участия в религиозной и благотворительной деятельности, ксендз пел песни под гитару, много путешествовал, постоянно открывая для себя мир и людей, — в Израиле, например, увлеченно беседовал с Бен-Гурионом. Мартинкус был по-прежнему заботлив: показал стихи Альфонсаса литературному кумиру литовской эмиграции Бернардасу Браздженису, и тот высоко отозвался о поэзии Буконтаса.)

Время стало для него живым: прошлое, настоящее и будущее существовали в одном измерении. Об этом говорит Каббала. Но это знал и Рерих. Это великолепно чувствовал Чюрленис; Альфонсас не мог оторваться от его картины «Прошное»: там изображены ворота, через отверстия в которых ярко светит солнце, точнее — множество солнц.

Лучи прошлого стали согревать «украденного ребенка»:

«Когда я был студентом, я снова пришел к тете Котрине Шульцене, у которой жил когда-то, учась в Жидикай... Мы пошли с ней гулять на луг, она рассказала все, что знала сама. Многие

рассказала... Даже открыла мое настоящее имя... Оказывается, до войны она была соседкой родителей, помогала маме по хозяйству. Оказывается, это тетя Котрина отвозила меня по заданию ксендза Мартинкуса в Дапшай...»

Историю Альфонсаса узнал выдающийся еврейский поэт Гирш Ошерович, после войны живший в Вильнюсе:

«Он сам когда-то окончил юридический факультет Каунасского университета. Ошерович отыскал адвокатов — коллег отца, помог найти других людей, помнивших моих родителей. Тогда я узнал и подробности их последних дней: они попали в Каунасское гетто; отца расстреляли в 42-м, маму вывезли в 44-м в Штуттгоф — она погибла в марте 45-го при побеге из лагеря... А братика и сестру отца убили под Мажейкяй, в сосновом бору... Я держал в руках фотографии. Удивлялся: вот это мама (наверное, она так хотела сбежать из Штуттгофа и потому, что, находясь в гетто, узнала: меня удалось спасти), а это отец, учившийся в Сорбонне... это брат... неужели тот младенец — я?»

Тайна была разгадана. Правда оказалась нелегкой:

«Я редко говорю с кем-нибудь о своем прошлом. Бывает, человек сам спросит, а потом пугается: перед ним открывается такая бездна, что хочется быстрее отойти в сторону... Тогда мой собеседник переводит разговор на другую тему. Я понимаю: это инстинкт самосохранения...»

Точно сбросив пелену лет, а на самом деле осознав суть и связь событий, Альфонсас припомнил: в 1947-м к ним приехал из Каунаса «высокий лысоватый человек в кожаном пальто». У него была необычная миссия: найти в литовских селах спасенных еврейских детей. Говорят, потом тех мальчиков и девочек тайно переправляли в Палестину... *«Мужчина угостил меня конфетой, подарил какую-то монету. Мама говорила с ним при закрытых дверях. Он переночевал у нас. Утром я видел, как человек уходил через наш сад... Мне было странно и страшно. Я не хотел покидать дом. Я упорно верил в то, что здесь, как в старинном замке, смогу спрятаться от всех опасностей».*

То, что «украденному ребенку» очень важно обрести семью, понимали не только еврейские Учителя, об этом заботились не только активисты послевоенного сионистского подполья. О том же думала простая литовская крестьянка Мария Буконтене.

«Ты же все знаешь, ты уже не маленький, — говорила она. И спрашивала: — Может, я неправильно поступила, не дав тогда тебе уйти к людям, близким по крови?» Мне было уже лет девятнадцать. А она все страдала: тебе тяжело жить — ведь ты остался один... Она плакала. Я объяснял, что мне у них очень хорошо, что я им благодарен за все... Впрочем, это был наш единственный подобный разговор. Больше к той теме мы никогда не возвращались. Но мне кажется, мама часто размышляла об этом. Думала: можно ли взять дитя из одной нации и пересадить, как растение, в другую? Она чувствовала: это противоречит каким-то божественным законам...»

Наконец, изломанные линии его жизни сходятся вместе.

22 декабря 1994 года в Вильнюсе состоялся суд, который на основании многочисленных свидетельств (и в присутствии живых свидетелей) установил: Альфонсас Буконтас является Мордехелем Михницким, сыном Нехамы Гурвичайте-Михницкене (1907–1945) и Янкелиса Михницкого (1907–1942).

4

...Я надеюсь когда-нибудь опубликовать хронику этого возвращения. Здесь — только фрагменты. Все же представлю читателям еще один. Это самое начало исповеди Альфонсаса — по сути небольшая новелла, которую я назвал (для себя) «Мягкое л». Новелла эта насыщена одиночеством, тоской, ожиданием. Смутным еще стремлением разгадать тайну собственной судьбы.

«...Придя в первый класс, я встретил там мальчика из соседнего дома.

Он был повыше меня и покрупнее. Звали его Альфредас.

Я на всю жизнь запомнил, как странно он произносил слова, точнее даже — только один звук: “л”... Мягко, чересчур мягко. Так в деревне не говорил никто. И весь наш класс дружно смеялся над ним!

Домой из школы мы с Альфредасом возвращались вместе. Путь был долгим: узкая, кажется, бесконечная тропа, потом мостик через речку, снова тропа...

Никого вокруг не было.

Постепенно мы сдружились, не могли не подружиться. Да-же ходили друг к другу в гости.

Альфредас появился в нашем селе недавно. Попал сюда из Кенигсберга. Этот город в конце войны сильно бомбили. Если не ошибаюсь, во время бомбежки и погибли его родители. Многие дети спаслись тогда из Кенигсберга бегством: чаще всего забирались на крыши поездов. Ходили потом по деревням, выпрашивая подаяние. Выучивали торопливо по несколько литовских слов: duonas, valgyti... Но все равно их легко было узнать: немцы.

Наш сосед работал адвокатом в райцентре. Однажды он увидел Альфредаса, и тот понравился соседу. Его единственная дочь умерла. Адвокат предложил мальчику остаться в их семье. Потом он отправил Альфредаса в деревню, к своей жене. Вскоре они усыновили мальчика, который стал носить литовскую фамилию.

Альфредас все время рисовал самолеты и танки. Вообще все его игры были связаны с войной. Как-то он рассказал мне: его настоящий отец был летчиком.

Уже спустя полгода Альфредас хорошо говорил по-литовски.

Но странное, чересчур мягкое “л” так навсегда и осталось в его речи.

Мы с Альфредасом проучились вместе семь лет, пока не окончили сельскую школу. И все это время я чувствовал двойственность в отношении к нам окружающих.

Реальность вовсе не была простой, но была такой очевидной. Есть наши близкие, которые нас любят. И есть все остальные, которые нас не принимают.

Да, мы с Альфредасом были чужими здесь. Хотя, наверное, невозможно было сказать, чем именно мы выделялись. И — кстати — мы так не походили друг на друга.

Альфредас был очень сильным. Ощущая неприятие среды, он то и дело затевал драки.

Я же был слабым, в драку никогда не лез...

Когда потасовки кончались, мы с Альфредасом, как ни в чем ни бывало, отправлялись домой. Напряжение, кажется, затухало. Но реальность по-прежнему была разорвана, раздвоена... И, как ни странно, именно это нас объединяло.

Наша учительница говорила назидательно взрослым:

— *Вот видите, еврейский и немецкий мальчики дружат между собой, а мы так не умеем...*

Но об этих ее словах я узнал совсем недавно. А тогда не знал, что я — еврей. Может быть, инстинктивно, и не хотел узнавать».

...Конечно, я не раз думал: почему Альфонсас начал свою исповедь с воспоминания о друге детства?

В чужой судьбе он однажды, как в зеркале, увидел себя. Но по сути сходство было лишь в одном: Альфредас и Альфонсас были другими в литовской деревне.

У каждого народа и у каждого человека, понял Буконтас потом, — свой путь, свое предназначение. А миссия некоторых людей состоит как раз в том, чтобы стать своеобразным мостом между народами и культурами.

5

...Говоря о возвращении «украденного ребенка» в семью, добавлю: возвращение не было идиллическим. Приходя в юности в еврейские компании, Альфонсас порой вздрагивал: «...новые знакомые смеялись над моими рассуждениями, как когда-то дети в деревне». Конечно, он идеализировал евреев, недоумевал: неужели возможны у потомков Авраама национальная апатия, цинизм, равнодушие к чужому горю? Однако, пожалуй, еще драматичнее была ситуация, в которую вдруг попал опытный литератор. *«Одно время казалось: я стал чужим в той культуре, что была родной с детства. При этом мне было очень трудно войти в культуру, родную по крови».*

Мы с Альфонсасом много говорили об этом. Я вспоминал слова, которые написал в начале восьмидесятых, работая над книгой об основоположнике литовской литературы Кристионасе Донелайтисе: «У разных культур — разные корни, но одно небо». Жизнь, однако, сложнее любых формул. На мой взгляд, Буконтасу помогло то, что он почувствовал сам *воздух* еврейской истории, смело вошел в ее *особое время*.

«...Река истории образует кольцо, — писал Адин Штейнзальц. — Она вливается сама в себя, и в ее водах мы не заметим ни необратимых изменений, ни новизны». Но вечное возвращение в иудаизме — это и вечное наше обновление. «Например,

исход из Египта... — продолжал Штейнзальц. — Его значение выходит за сугубо исторические рамки, ибо он реализуется в духовной биографии каждого человека. Еврей в каждом поколении не просто должен считать, что он сам вышел из Египта. История исхода становится и историей его собственного духовного развития. Рабство и избавление от него, переход через море, война с Амалеком и получение Торы — вот этапы развития человеческой личности».

Путь «украденного ребенка» — это один вариантов вечно-го нашего возвращения...

Разумеется, Буконтас не перечеркнул свое прошлое: десятилетия жизни нельзя отбросить, точно ненужный черновик. Тем более, что у евреев ушедшее органично сливается с настоящим. Альфонсас признавался: *«...мама и папа приходят ко мне из небытия и поддерживают — заполняют пустоту в душе, которую я ощущал так долго»*. Одновременно он по-прежнему *«шепчет, словно молитву, имена приемных родителей — как и имена других своих спасителей»*.

Буконтас не отказался от собственных литературных поисков — нет, не случайно они были так созвучны его божественной душе: «космическое» начало он потом легко обнаружил в Торе... А то, что он органично вошел *«в культуру, близкую генетически»*, свидетельствуют, как всегда, переводы Альфонсаса.

С идиша, иврита, русского он перевел на литовский произведения таких ярко не похожих друг на друга еврейских поэтов, как Йошуа Лацман, Гирш Ошерович, Моше Кульбак, Авраам Суцкевер, Шмуель Качергинский, Герман Крук, Иехуда Амихай, Леонид Школьник, Ефрем Баух (стихи и роман «Солнце самоубийц»).... Он опять убеждался в старой истине: для еврейского литератора родина — это наша история. Творец живет в истории, а потом навсегда растворяется в ней.

6

...Здесь и простимся с ним, оставив за скобками многое: я пишу не очерк «жизни и творчества» поэта Альфонсаса Буконтаса — я вглядываюсь в его «путь по пустыне».

Признаюсь: думая о судьбе моего друга, не раз возвращался к строкам, принципиальным для него (не зря они дали название

единственному московскому сборнику поэта: Альфонсас Буконтас. Пока летит стрела. Стихи. Перевел с литовского Сергей Карнеев. М., «Советский писатель», 1990).

Автор ведет не сразу угадываемый спор с известным стихотворением Осипа Мандельштама «Раковина». Спор — опять о человеке. Что и говорить, концепция, которую Мандельштам так пронзительно выразил в 1911 году, получила распространение в искусстве (прежде всего — западном) второй половины двадцатого века. И не раз уже было доказано: человек — только одинокая песчинка на ветру времени, только (по Мандельштаму) «ненужная раковина», вынесенная «из пучины мировой» на берег жизни. Вроде бы, это полностью подтвердил минувший век: судьбы, жизни, любовь, надежды, проявившиеся и не открывшиеся таланты были безжалостно сломаны, искорежены революциями, диктатурами, войнами... Но вот аргументы Альфонсаса Буконтаса:

Нет, не раковина потерянная: плачет она,
прилив умоляет
вернуть в глубину. Бесплодна. Одни песчинки
жужжат в ней. Назад — это все, что осталось, —
назад зовет ее память...
Ты — семья! Ты — пробившая время стрела!
Звон натянутой тетивы бунтует в тебе.

Надо ли что-то добавлять к этим словам? Разве что из Торы: мы все — семья, и каждый ответственен за другого. Разве что из Агни-Йоги: «Удача не покинет стремящихся, ибо трудно попасть в стрелу на полете».

1990–2005

ЭМИГРАЦИЯ КАК СОН

Еще толком не проснувшись, считаю дни. В августе — пять, в сентябре — тридцать... Перестая заниматься этой арифметикой в конце второго месяца. Теперь считаю неделями. Кажется, так считают детей — неродившихся или только появившихся на свет. Через четыре дня — «годовщина»: ровно три месяца, как мы в Чикаго. Пытаюсь понять: много это или мало? (Нояб., 1996)

*

Боль пронзает неутомимо. Возвращается — как схватки у рожениц, вгрызается, не делает перерыва. Иногда я хочу погрузиться в нее, приспособиться, отупеть — не могу. Разумеется, боль не покидает меня и ночью, только во сне я чувствую ее как бы издалека. С этой болью проходит месяц моего прощания с Литвой и полтора месяца в Чикаго. В Вильнюсе мне безрезультатно пробуют помочь врачи скорой помощи. Наконец, в США боль побеждают обычные пилюли, которые я покупаю в магазине Walgreens. Говорят мудрецы: языком боли нас о чем-то предупреждает Всевышний.

*

Есть распространенное измерение эмиграции. Английский язык. Наша жизнь с ним и — в нем.

Учитель английского — поляк. Приехал в Америку в детстве, сейчас ему тридцать семь. Откуда я знаю? Он сказал это сам. Еще рассказал:

о своей жене, которая младше его на пять лет, врач, зарабатывает в три раза больше, чем М., и это — предмет его гордости;

о своих любовницах, girlfriends, которые были до жены, хотя и она являлась таковой в течение нескольких лет;

о вкусах и антипатиях жены — больше всего она ненавидит дурной запах изо рта, а любит make love, «заниматься любовью»;

о причинах их ссор; вот постоянная: М., когда совершает в туалете пи-пи (это учитель произносит по-русски), поднимает, чтобы не забрызгать, крышку унитаза; возвращаясь с работы, жена торопливо садится прямо на холодную фаянсовую поверхность, испуганно вскакивает, кричит...

Думаю иногда: а есть ли у М. жена? Может, все это только прием — педагогический прием, чтобы активизировать восприятие его прекрасной английской речи.

Он сидит посреди комнаты, вытянув ноги. Может на виду у всей группы, не прерывая рассказ, завязать шнурок на ботинке или почесать любое место своего похожего на тюленья тела. Говорит, поглядывая незаметно на часы. Я много раз проверял: он не пропустил ни одной минуты — обрывает беседу едва ли не на полуслове, чтобы ровно в три часа сказать:

— Break. Перерыв.

Нет, он не халтурщик — виртуоз своего дела. И ему, как любому мастеру, доставляет удовольствие, когда я говорю ему об этом. «Is it true? Это правда?» — переспрашивает М.

Особенно виртуозен он был в самом начале занятий. Пел песенки, изображал то какого-нибудь зверя, то различные типы американцев... Очень виртуозно М. скрывает и то, что ,по-видимому, прекрасно знает русский язык.

В классе обычно десять-двенадцать человек. Столы поставлены полукругом. Никаких учебников. Никакой грамматики. Каждый день М. раздает нам размноженные на ксероксе листочки. Это материал для размышлений. Надо представить себя банкиром, который решает, можно ли выделить кому-то заем. Или членом комиссии, делающей выбор — какие школьные программы сократить, а какие оставить. Или... На листочках — исходные данные. «Завтра мы все это и обсудим».

Ровно без пятнадцати пять М. закрывает рот и выходит из класса. В холодный день набрасывает себе на плечи яркий свитерок. Идти ему недалеко — до стоянки, где притулилась его белая тойота-камри.

*

Я так никогда и не узнаю, куда же он едет. (Янв., 1997)

*

«Промежуток». Название статьи Юрия Тынянова о русской поэзии начала двадцатых годов прошлого века. «Промежуток» — лучше об эмиграции не скажешь. А эмигрант — человек в промежутке.

*

Эмиграция или иммиграция? Ненужный спор. Любая энциклопедия объяснит: эмигрант — это тот, кто покидает родину; иммигрант — человек, уже приехавший в другую страну. Почему мне по-особому интересны эмигранты? Их судьбы неизменно таят в себе трагедию (или хотя бы драму). Они уехали из России (или из любого другого государства бывшего СССР), а в Америку так и не попали. Они — «в промежутке». Навсегда?

*

Оправданием эмиграции озабочены, конечно, сами эмигранты. Оправдания эти в разные годы разные. Сейчас они, как правило, ориентированы не на «верх» — на «низ» человека. Уже никто не только не скажет — даже не подумает: «Мы не в изгнании, мы в послании». Убедительнее то, что с простодушным цинизмом написал в начале двухтысячных один чикагский журналист. *Возьмите кусок свежего бородинского хлеба, намажьте его вологодским маслом, положите сверху докторскую колбаску... Вы еще не забыли про свою ностальгию по родине? (2005, авг.)*

*

Великий «искатель истины» Георгий Гурджиев не сомневался: человек — это машина. Существо, живущее механически и погруженное в дурман сна. Опыты Гурджиева, которые потрясали и притягивали интеллектуалов Европы, преследовали одну цель: пробуждение человека от «сна наяву».

Эмиграция, конечно, пробуждает наше спящее сознание. Еще бы! По словам Дины Рубиной, в которых нет преувеличения, эмиграция — это «хакари». И твои кишки шлепаются на асфальт».

Хотя сама по себе эмиграция тоже является сном.

*

Радостные рассуждения ученых: «*Переезд улучшает память*. В течение жизни человек в среднем переезжает около 5 раз. Исследования показали, что это очень тяжелое испытание (тяжелее, чем развод). Однако ученые из Университета Нью-Гэмпшира установили: у переезда есть, как минимум, один плюс. Он помогает запоминать то, что с нами происходит». (Собщения информагенств в августе 2016 г.)

*

...Будто споря с этими доводами науки, неторопливо идет навстречу мне по Devon Avenue в Чикаго странная пара. Она — высокая, сухощавая, похожая на осеннее дерево с облетевшими листьями. Он — пухлый, неестественно краснощекий, едва достает ей до плеча. Заметив меня издали, они улыбаются. Противой осенью в Хот-Спрингсе — горном курорте на юге Америки — мы часто гуляли по старому, как бы нависшему над городком, парку. Юрий, когда-то, как и я, преподававший в вузе (его лекции, случалось, приезжали послушать поклонники из других городов), был теперь застенчив и молчалив. Самую длинную фразу он произнес в начале знакомства: «Можете звать меня по имени, мы ведь встретились на Западе, где к отчеству не привыкли, не правда ли?».

Не сразу я понял: его уже давно сразил Альцгеймер. Но вместе с женой они умело скрывали это. На мои вопросы о кафедрах литературы в Молдавии отвечает Фира. А Юрий печально и ласково поддакивает.

Однажды, когда он задремал на лавочке, опьяненный резким горным воздухом, Фира шепотом поведала их историю. Альцгеймер напал на ее мужа внезапно и побеждает, не церемонясь. *Слава Богу, мы уже здесь, в Чикаго, где будущее не так страшит. Слава Богу, он не стал агрессивным, хотя об этом предупреждал врач. Слава Богу, Юрочка не совсем растерял интеллект*. И он даже придумал объяснение своего беспамятства: «Большинство писателей, возвращая минувшее, оживляют его, смакуют свои воспоминания. А мне не хочется вспоминать. Мое прошлое пропитано тоской».

*

«Эмиграция — болезнь», — записываю в блокнот. И забываю подумать о главном: долго ли длится эта болезнь? Разумеется, вариантов несколько. Читая книгу знаменитого основателя гештальт-терапии Фредерика Перлза, встречаю его напоминание: болезнь — незаконченная ситуация; она «может завершиться выздоровлением, смертью или перестройкой организма».

*

Русскоязычные общины в городах США становятся приютами стариков. Массовая эмиграция из России давно закончилась. Утихли животрепещущие споры в газетах и на радио о том, сколько приехало с нами агентов КГБ; кто же все-таки написал «Тихий Дон»; кем был Георгий Жуков — спасителем России или «мясником», бездушно посылающим солдат на верную смерть. Вчерашние, не терпимые друг к другу спорщики мирно встречаются сегодня у кабинета уролога, в круизе на Багамы или в «детском садике» для стариков. (дек. 2017)

*

Человеческие судьбы, в эмиграции едва погруженные в быт, обнажены. Эмиграция подчеркивает их изломанность, странность, часто — загадку.

*

На той же Devon Avenue, долгие годы дававшей приют русской эмиграции в Чикаго, прислонившись к стене продуктового магазина, стоит человек, вид которого отталкивает и — одновременно — притягивает прохожих. Сам о себе он говорит: работаю нищим. Сколько лет ему — решить непросто: от сорока до шестидесяти. Во всяком случае, в его сизой, клочками, бороде я не разглядел седины. Вместо левой ноги у него — протез, который не скрыт, как бывает, брюками. Самое примечательное на его лице — глаза: они большие или кажутся такими, потому что человек смотрит на вас твердо и пристально, почти не отводя взор.

За много лет мы не сказали друг другу и нескольких слов. Но я знаю его имя: Илюша. Мягкое, теплое имя это, кажется, не-

удачно взято им на прокат. Многие американские нищие протягивают за подаванием банку или коробочку, где уже лежат, словно упрекая прохожих, доллары, звенят монеты. А этот безногий только смотрит на вас, просвечивая насквозь, и вы сами, без приглашения достаете кошелек.

Однажды зимой встретил Илюшу в приемной врача. Он уже выходил из дверей, однако, узнав меня, задержался. Уверенно спросил: «Не подбросите до работы?» Ехать всего минут пять, но, конечно, идти Илюше трудно: обжигающий зимний ветер в Чикаго сбивает с ног даже здоровых людей. Он молча сидит рядом со мной в машине, отвернувшись к окну — будто впервые увидел улицу, где прошли десятилетия его жизни. Разумеется, Илюшу несколько не смущает зловонный запах, исходящий от его неизменной, в любую погоду, серой куртки.

Мне говорили: когда-то он окончил философский факультет МГУ. Философский факультет? — мысленно, с усмешкой, переспрашиваю я. И сразу вспоминаю сентиментальные романы позапрошлого века. Я не сомневаюсь, что услышал одну из легенд эмиграции, которая любит творить мифы. Но потом Т., знающий всех и все, поклялся, что в самом деле видел у Илюши диплом МГУ.

Что привело его в Чикаго и заставило выбрать древнюю профессию? Часто я порывался поговорить с Илюшей. Но каждый раз меня останавливал его жесткий, не пускающий к себе, как дверной засов, взгляд.

*

Анатолий Симонович Либерман, знаменитый лингвист, профессор Миннесотского университета говорит по телефону:

— Наша прошлая советская жизнь поразительно нас усредняла. Поколение, как горох из стручка. По выражению моей жены, все мы похожи, словно серые штаны пожарника. Встречаюсь, сразу узнаем друг друга. Одни и те же цитаты, мысли, воспоминания.

В самом деле, узнаю *своих* всюду. Узнаю безошибочно страх: его большинство из нас старается скрыть. Это единственный багаж эмигранта, который, увы, нельзя потерять или оставить в камере хранения.

Страх — одна из главных тем моей книги «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти. Из дневников этих лет» (1996). Пять лет я слушаю исповедь умирающего литовско-еврейского драматурга и критика й. Пять лет «на самом краешке жизни» й мы вместе пытаемся реконструировать его многочисленные страхи. И разобраться, наконец, в них. Кстати, страхи закончились для й только вместе со смертью.

*

Позавчера, после работы, гуляю в парке около дома. Говорю по мобильному телефону. Вдруг слышу — голос с сильным акцентом: «Как это приятно — красивая русская речь...» Немолодая женщина. Спрашиваю: «Вы из России?» — «Нет, из Латвии. А здесь почти тридцать лет. И скучаю по русскому языку...» — ?! — «Я вообще люблю изучать языки. Сейчас знаю пять, учу шестой — японский... Поеду скоро в Японию на стажировку». Она рассказывает о себе еще. Не слишком значительные подробности, не слишком ясна даже ее профессия (что-то связанное с нетрадиционной медициной)... Расстаемся через несколько минут. Она предлагает обменяться номерами телефонов.

И вскоре в самом деле звонит: «У меня к вам просьба. Если мы встретимся случайно в каком-то общественном месте, сделайте вид, что меня не знаете...» Повторяет это несколько раз. Успокаиваю ее. Даю слово молчать. И ни о чем не спрашиваю. Мне не хочется идти *вглубь* ее страхов.

*

Когда-то я стал записывать сны евреев. Начинался Исход из страны красных фараонов. Миллионы людей исчезали, словно растворялись в истории и времени. Мне казалось: именно через сны можно понять трагическую и запутанную историю советского еврейства. Сколько бы мы сегодня ни пытались прочесть ее, многое так и остается догадкой. Может быть, хотя бы сны, рассуждал я, способны что-нибудь прояснить. И то, о чем люди раньше не могли говорить. И то, что уже забыли. И то, что до сих пор прячут — даже от самих себя. (Некоторые записи вошли в мою книгу «Послевкусие сна. Из дневников этих лет», 2012 — Е.Ц.).

Ну а что же сны эмигрантов? Вот повторяющиеся, а значит — самые важные, по утверждению психологов: «Сидим в самолете, уже прилетев в Нью-Йорк. Однако нас не приглашают на выход. Кто-то говорит: поступила команда лететь назад. Возмущенные крики взрослых, плач детей. В конце концов, слава Богу, все разрешилось». Этот «страшный сон» — с небольшими вариациями — мне рассказывают человек десять.

*

Интервью с теми, кто мучается в эмиграции бессонницей: просыпается в три часа ночи и не спит до утра. Говорят, что в это время небеса хотят сообщить тебе нечто важное.

Тоже типичный ответ: «Люблю лежать в темноте с закрытыми глазами. Стараюсь увидеть себя со стороны. С годами стал относиться к себе как к постороннему. Спрашиваю: есть ли хоть какой-то смысл в жизни этого человека? И можно ли переменить его судьбу?»

*

Больше двадцати лет я редактирую русскоязычный ежемесячник в Чикаго. Изданий такого типа в Америке немало: что-то среднее между газетой и журналом. О том, «как я был редактором», можно написать книгу. Жаль, что такая книга давно написана. (См. записки Марка Твена или повести Дины Рубиной).

*

Электронные письма от Вильяма Ф. таят в себе неожиданность. Он — тоже философ, один из многочисленных «философов» русскоязычной общины. Идеи В.Ф. всегда поражают меня. Вот и сегодняшнее его предложение, на которое он хочет обязательно получить ответ из редакции:

«Известно, что в обществе немало лесбиянок и гомосексуалов. Как правило, у них нет детей. Однако нельзя бесхотятственно относиться к этому биологическому материалу. Почему бы не способствовать тому, чтобы бисексуалы оплодотворяли лесбиянок? Эти женщины таким образом обретут жизненную гармонию. А мы получим огромный прирост населения. Кстати, гомосексуалов надо постепенно — с помощью достижений науки — переводить в ряды бисексуалов». (6 ноябр, 2017)

*

В новом издании дневниковой книги Юрия Олеши, которая раньше называлась «Ни дня без строчки», а сейчас — пересоставленная и дополненная — вышла под названием «Книга прощания», читаю: «Человеческая судьба, одинокая судьба человека (...) наиболее необходимая поколениям тема. Мировые произведения построены на ней. Лучшее, что было написано за последние годы, — книга Ремарка. Чем-то перекликается она с другой книгой одинокой судьбы — с «Голодом» Гамсуна. Теперь обращаюсь я к своей судьбе и вижу: одиночество. Пусть в эпоху наибольшего движения масс возникнет книга об одиночестве».

Одиночество, как и пошлость, — символ эмиграции. (Авг., 2000)

*

Прихожу в редакцию в разное время — в девять, в десять, одиннадцать утра. Мне некуда спешить: могу работать из дома. А Борис неприкаянно сидит в приемной, ждет. Мне стыдно, каждый раз извиняюсь перед ним. Хотя ни в чем не виноват: в Америке полагается заранее договариваться о встрече, никто здесь, как в России, не заходит «на огонек».

«Что нового?» — говорю я. И заранее знаю ответ: «Простите, мне не хватает общения». Борис — неплохой поэт. Прошу его почитать старые стихи, расспрашиваю о Таджикистане, где он когда-то жил и печатался. Что еще я могу сделать для него?

*

Старики-эмигранты (те, кому восемьдесят и больше) — типичные советские люди. Совсем редки их прозренья, как у Бориса З., который со вздохом заключает свое письмо: «Коммунистическая идея прекрасна! Надо только стараться, чтобы она никогда не осуществилась».

*

Еще одна дискуссия об эмиграции: «Счастливы ли вы в США?». Светлана П. возмущается: «Я приехала сюда и выучила английский не для того, чтобы мыть чужие дома...» Ей отвеча-

ет Инна М.: «Светлана была бы, конечно, права, если бы не говорила по-английски, как большинство наших стариков: *Твоя моя вчера придет...*»

Самоценки *наших* всегда прекрасно завышены.

*

Потоком идут в редакцию книги. Привычно недоумеваю: почему, едва попав в эмиграцию, многие хотят стать писателями? И — немедленно «берутся за перо», то есть осваивают компьютер.

Человек здесь теряет профессию (она часто уже никому не нужна). А в душе между тем — безошибочное ощущение: у тебя есть уникальный опыт жизни, о котором надо обязательно рассказать.

Увы, писать книги — тоже профессия. 99,9 процентов книг, выпущенных в эмиграции, — бесцветная продукция графоманов.

*

Эмиграция как идея и как реальность — разные вещи.

Как идея эмиграция замечательна: она выявляет для литератора суть многих вещей — в частности, его подлинное призвание.

Увы, реальность эмиграции — нечто иное. Грубое. Циничное. Резкое. Подчеркивающее ненужность творчества.

*

Русский литератор, конечно, попадает в число эмигрантов. Не имеет значения то, знает ли он английский. Он думает и пишет по-русски.

Он — в промежутке. Не поэтому ли многие литераторы в эмиграции переполнены тревогой и раздражением? На кого? На Россию, где их когда-то не оценили, а сейчас все так же не замечает критика. На антисемитов (в той же России, хотя государственного антисемитизма там давно нет). На американских бюрократов. В конце концов, на себя. На свою судьбу. Рано или поздно понимают бессмысленность этого чувства. Смиряются или только делают вид?

Суть такого состояния сформулировал Ф. Перлз: тревога — разрыв, напряжение между «сейчас» и «тогда».

*

Умерла талантливая поэтесса Алла Б. Ее статьи о писателях эмиграции пропитаны злобой. Бумеранг? Как она не понимала этого? Конечно, поняла. Но поздно. Смертельно больная, звонила людям, на которых недавно выливала ушаты грязи. Просила простить.

*

«Здравствуй, брат, писать очень трудно!» — говорили друг другу *Серапионовы братья*. В эмиграции это приветствие звучит насмешливо: ну кто расслышит одинокий голос автора, пытающегося что-то сказать на чужом языке?

Тем не менее эмиграция — лучшее место для творчества. Если, конечно, ты сумел обуздать неуемность тщеславия.

*

В ноябре 2013-го в Чикаго скончался старый врач, эмигрант из Украины Роман Вершгуб. Многие люди, умирая, уносят с собой тайну. Мне всегда казалось, что ее совсем необязательно разгадывать — человек имеет право недосказать сюжет собственной жизни. И все же тут был особый случай.

Впервые о том, что Роман Вершгуб пишет рассказы, я услышал от Ефима Петровича Чеповецкого, знаменитого детского поэта, в свои последние годы жившего в Чикаго. «Прекрасная проза, — воскликнул Е.П. — Но загвоздка в том, что Роман не хочет ее публиковать».

Он печатал свои рассказы на машинке: два-три экземпляра. И давал читать двум-трем людям. Когда мы познакомились, Роман оказал эту честь мне. Чем сразу поразили меня его рассказы? Они явно были написаны профессионалом.

Я совершил ту же ошибку, что и другие. Спросил: хотите, предложу ваши работы в один из эмигрантских журналов, с которыми связан? И получил такой же категоричный отказ.

Тогда он был уже безнадежно болен. И знал это. И поддался на уговоры друзей: стал иногда читать свои вещи в литературной студии Чеповецкого. Однако еще тверже говорил о ненужности публикаций.

Майя, вдова Романа, нарушила его волю. Не мне ее упрекать. В былые дни легенды о Майе, враче-гомеопате, гуляли по

Киеву. А сейчас, через несколько десятилетий, она занималась восточной гимнастикой, водила машину. Она не раз приезжала ко мне в редакцию. За советом: как составить сборник? Как назвать книгу? Но главное — спросить: как я понимаю подтекст того или иного рассказа?

Ее тоже волновала тайна мужа. Жене Роман никогда не давал читать свою прозу. Робел, зная ее хороший вкус и категоричность оценок? Может быть. В чем-то не доверял? Вряд ли. Многие детали безоговорочно твердили: он любил Майю, долгие годы их брака был предан ей.

У меня собралась большая папка рассказов Вершгуба. Иногда я перечитываю их. Рассказы эти печальны, а на первый взгляд — безотрадны. К одному из них автор поставил эпиграф: «Успехи мнимы, беды истинны». Герой этой новеллы молодой ученый Виталий, которого справедливо считают гением, отказывается вдруг от защиты диссертации, уходит из родительского дома — уходит к некрасивой женщине, гораздо старше себя («Маменькин сын»). Хирург Саша, делающий уникальные операции, неожиданно теряет свой дар и мучительно пытается понять, кто виноват в этом, — нежели он сам? («Кузнец своего счастья».) «Я узнаю в рассказах реальные события и реальных людей», — говорит Майя. И наконец я догадываюсь: пространство рассказов было для Р.В. своеобразной лабораторией психоаналитика. Здесь он, не верящий в Бога, но доверяющий судьбе, стремился проникнуть в логику и смысл, а скорее — в алогизм и бессмыслицу бытия.

В начале апреля мы столкнулись с Майей все на той же Devon Avenue. Торопливо обменялись новостями. «Вам передали книгу?» — «Пока нет. Уже вышла? Поздравляю! А какой тираж сборника?» — «Пятьдесят экземпляров». — «Так мало...» — «Так много. Тридцать книг валяются у меня в шкафу — никому не нужны».

Майя вздохнула: «Там, на небе, Роман, конечно, осуждает меня...»

*

В США зарегистрировано более двух миллионов авторов. Иногда, вспомнив об этом, мне не хочется писать. Представляю соревнование огромного количества муравьев.

*

Но все же, в оправдание творчества. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. О чем это? Человек — прежде всего — создан демиургом. Творчество помогает эмигранту сохранить в себе тонкий, все уменьшающийся слой духовности.

*

Трагедия эмиграции: она дает свободу; однако часто не открывает, но закрывает мир.

«Что делать мне со своей свободой?». Это спрашивает меня тот же Ефим Петрович Чеповецкий. Ему за девяносто. Но он еще пишет, еще любит застолья. Когда-то о его стихах с восторгом отзывались Самуил Маршак, Лев Кассиль, Михаил Светлов. Когда-то миллионы малышей читали его книжки — их названия на слуху: «Мышонок Мыщик», «Непоседа, Мякиш и Нетак», «Про славную коровну Настурцию Петровну», «Солдат Пешкин и компания»... А мы познакомились с Чеповецким больше сорока лет назад, когда я писал свою первую книгу о «школе Всеволода Иванова». Иванов предрекал Е.П. большое литературное будущее. Он восхищался неповторимым писательским голосом Ефима Чеповецкого, который так естественно звучит в произведениях разных жанров. Теперь, сорок пять лет спустя, Е.П. уже не в первый раз настойчиво переспрашивает меня: «Что же делать мне со своей свободой?»

*

Умер Михаил К. — мрачный человек, который помогал многим и многим людям, ни от кого не ожидая благодарности. И, кажется, не получая ее. Никто толком не знал его биографию. Сам М. рассказывал мне: в войну был разведчиком, оказался в лагере (сталинском), после освобождения, стремительно наверстывая упущенное, окончил институт, быстро защитил диссертацию, прославился изобретениями, из-за которых его долго не выпускали на Запад. В его рассказе меня смущала одна деталь: в начале войны М. был совсем молодым, едва ли не юным человеком, однако — тоже стремительно? — получил звание пол-

ковника, которое после реабилитации ему не вернули. Американская же судьба М.К. очевидна: он стал университетским профессором, имел аспирантов, создал собственную фирму.

В своей огромной квартире, переполненной антиквариатом, М. кажется мне уставшим путником, случайно попавшим в дорожную гостиницу. Будто между прочим, не придавая значения своему признанию, он замечает: «Мне не с кем разговаривать. Я не смотрю телевизор. В газетах читаю только новости. Мне все и так ясно».

Три раза в неделю М. неизменно посещал дома престарелых, в один из дней — онкологическое отделение Лютеран Джеренал госпиталя. Он рассказывал мне о своих визитах туда, как всегда, невозмутимо и четко: «Лежат, никому не нужные, брошенные детьми. Одно утешение: в России им было бы еще хуже»; «Когда надо, становлюсь переводчиком — с английского, русского, идиша...»; «Обязательно читаю им Священное писание. Слушают с трепетом, а ведь, как правило, ничего не понимают».

Впрочем, к Библии у М. было свое, особое отношение. Он говорил безбоязненно и безапелляционно:

— Тора дана нам инопланетянами. Это известно всем здравомыслящим людям. Инопланетяне — представители Высшего разума. Они и принесли на Землю нравственные законы, по которым должно жить человечество. А как иначе?

Он пытливо, с хитринкой смотрел на меня, как бы призывая к дискуссии о Синайском Откровении. Спорить с М.К. я, разумеется, не стал.

*

Писатель Владимир Ильич Порудоминский говорит о Кельне, где живет уже одиннадцать лет: «Мне здесь неплохо, но этот город никогда не станет моим прошлым. Он не расстет во мне в глубину, только — вширь». В.И. уехал из Москвы в Германию вслед за семьями двух своих дочерей. Уехал из той же комнаты, где родился семьдесят семь лет назад. (15 мая 2005 г.)

*

11 сентября 2001-го. Лас Вегас. Мы решили встретиться здесь с моим университетским другом Эмилем Горештером

и его женой Диной. Накануне, десятого сентября, — чудесный вечер вчетвером. Утром — звонок Эмиля: «Включите телевизор».

Смотрю, как рушатся в Нью-Йорке башни-близнецы, думаю: что это? Неужели конец цивилизации?

Выйдя из своего гостиничного номера, проходим через зал казино. Там — всюду — огромные экраны телевизоров, на которые никто не обращает внимания. Там по-прежнему идет игра. (18 сент., 2001)

*

— ...Так значит, сны наяву, — переспрашиваю я, радуясь тому, что, кажется, нашел разгадку эмиграции. — Что это такое?

Эфраим Б. произносит вдохновенную речь о *галуте*. Изгнании, в котором евреи пребывают уже тысячелетия и которое наши мудрецы считали *сном*.

*

«Когда возвратит Господь из плена детей Сиона, [все пережитое] покажется нам сном». *Эту песню пели левииим, стоя на ступенях в Храме.*

*

Почему же галут — сон? Здесь соединяются вдруг противоположные явления. Ложь неожиданно принимает вид правды. Происходят затмения разума (хасиды и это считают сном).

О том же долгие годы размышлял, настойчиво убеждая учеников в очевидной для него истине, Георгий Гурджиев.

*

Оказалось, в мои блокноты уже давно входят сны наяву, точнее — *люди из снов*.

*

Профессии эмигрантов неожиданны. Моти Ш. рассказывает о своем друге Боре (тоже нелегал, уехал сейчас из Чикаго в Нью-Йорк):

— Как вы думаете, что предложили Боре? Продавать тапочки для собак! Причем, не в какой-нибудь маленькой лавочке, а на огромной плазе...

Моти — израильтянин. Бритая голова, голубые лукавые глаза. По-моему, его невозможно смутить, зато сам Моти часто старается смутить собеседника своим нагловатым взглядом. Родился и окончил школу в Москве, репатриировался в Израиль, получил в Иерусалимском университете степень бакалавра политологии, говорит на трех языках — русском, иврите, английском. Стал нелегалом в Чикаго — после того, как ему отказали в учебной визе. Жизнь: запущенная квартира с несколькими соседями, румейтами, случайные подработки. Почему не уезжает в Израиль или Россию? Моти не ответит на этот вопрос. Понимает: жизнь ускользает, течет мимо. Но он и не пытается ничего исправить. Ему нравится это состояние вечной неопределенности, открытости судьбе. С восторгом Моти рассказывает о своей последней работе. Он возит на машине врача, который навещает больных стариков на дому (кстати, таких врачей в США встретишь почему-то редко). Пока доктор беседует с пациентом, Моти, развалившись в машине и улыбаясь на этот раз собственным мыслям, перебирает в уме варианты будущей жизни.

*

Я звоню ему и — он приезжает. Деловитый, спокойный. С рулеткой и калькулятором вышагивает по квартире. Его не смущают особые обстоятельства нашего ремонта: мы с женой хотим покрасить стены и потолки, но, придавленные усталостью, решаем не отодвигать шкафы, не снимать полки с книгами, не перекладывать в коробки посуду и бумаги. «Назовем это косметическим ремонтом», — сразу все поняв, с улыбкой говорит Сергей. Он обращается ко мне без заискивания, но и без едва скрытого самоуверенного хамства, чем грешат русские мастера. Называет цену чуть выше той, что я собирался заплатить. А я и не спорю, уже знаю: надо взять его, он — *свой*.

Работает Сергей тихо, почти не отвлекая меня вопросами. Я сижу с ноутбуком на кухне, уже покрашенной в прошлом году, делаю очередной номер журнала. В полдень нахожу в холодильнике приготовленный женой обед, приглашаю Сергея к столу. Он отказывается, достает из синей сумки что-то свое. Однако соглашается выпить чаю с конфетами. За чаем, отвечая на мои вопросы, спокойно сообщает, что находится в стране неле-

гально. Конечно, я понимаю логику его смелости: в Америке тебя пока еще никто не арестует за такое признание, зато — кто знает — может, я чем-нибудь помогу ему.

Незаметно разглядываю Сергея, невольно подсчитываю: ему лет тридцать пять, из них восемь — он в Чикаго. Пшеничные, аккуратно подстриженные волосы, маленькие, но всегда какие-то теплые, тигриного цвета глаза, прямой нос, большие руки, которым, я уже убедился, все под силу. Одет не совсем рабочему, словно в расчете, что его увидит кто-то, чье мнение дорого ему: подогнанные в ателье по фигуре джинсы, серая фланелевая рубашка. Удивительно: в конце дня Сергей выглядит столь же опрятно, почти элегантно.

Чем он притягивает меня? Именно этим своим спокойствием, которое лучше назвать ощущением свободы и которое я никак не могу понять. Вроде бы, Сергею надо спешить обратно в Россию, надо торопиться жить, а не готовиться к жизни. Под Тамбовом осталась Аня, жена, дети — мальчик и девочка. Перспектив в Америке никаких, а ему так легко здесь дышится. Отсылает раз в месяц деньги через Western Union, показывает мне фотографию двухэтажного дома, построенного по его проекту. И молчит об отъезде.

Мне хочется иногда видиться с Сергеем. И причины находятся. То поломается дверка шкафа в прихожей, то рассыпется на отдельные части кресло-качалка китайского производства. Он исправляет все умело, быстро, а потом мы завтракаем (или обедаем) и говорим *за жизнь*. Сергей не хочет брать с меня деньги. Мы ведь теперь, если не друзья, то приятели. Но, прощаясь, неизменно вкладываю купюры в карман его куртки. И он смиряется, побежденный доводом: «Если не возьмете, я не смогу обратиться к вам в следующий раз».

Конечно, я вскоре узнаю причину его нелогичного оптимизма. «Надо как-нибудь познакомить вас Ритой», — говорит Сергей. Они оба живут в так называемой украинской деревне, в четырехквартирном доме. У каждого, разумеется, своя комната, но они — вместе. Уже шесть лет. О Рите больше ни слова. Зато рассказывает Сергей об их коммуне нелегалов. «Я там как бы за старосту». Легко представляю их нередкие застолья по праздникам и дням («Нас как никак пятнадцать человек»), их не-сентиментальную заботу друг о друге, без которой не прожить:

нелегалам, к примеру, не так просто лечиться, найти бесплатный госпиталь. Их печальные проводы: время от времени кто-нибудь берет билет в один конец, хотя часто уже не представляет себе другой жизни, кроме этой странной вольницы.

*

«Что вы делаете по воскресеньям?» — спрашиваю однажды, когда Сергей приходит ко мне в понедельник. Почему-то мне кажется: он хочет, чтобы я спросил его об этом.

Он тем не менее смущается, даже краснеет: «Целый день мы в постели. И не устаем нисколько». Глаза его загораются — обычная, немного смешная мужская гордость. «И знаете, иногда, просыпаясь, забываю, где я. Тогда мне кажется: я все еще в своем поселке, в первый сладкий год после нашей свадьбы с женой».

*

С Ритой мы так и не познакомимся. Только увижу ее в августе — на видео, в телефоне Сергея. Она скажет ему об отъезде за день до вылета. «Раньше не смогла. Не решилась. И я не виню ее. В Калининграде у старшего сына Риты — свадьба». На посадку она идет, ни разу не оглянувшись. Маленькая, будто замороженная, в модном летнем костюме, очень привлекательная даже в безысходном своем отчаянии. (2016, дек.)

*

Радость забвения. Тема эссе, которое уже несколько лет хочу написать, а потом вдруг понимаю: мысль эта стала почти очевидной для многих.

Как известно, принятие смерти, согласие с ней — один из этапов на последнем пути человека. Но, оказывается, можно смиренно принять и свое беспамятство. И даже — обрести в этом состоянии радость.

...В четверг ко мне приходят Юра и Фира. Смущены и безмятежны — одновременно. Они хотят рассказать о своем недавнем, таком необычном для них выборе. «Вы знаете, — говорит Фира, — в конце семидесятых Юрочку таскали на допросы в КГБ. Да, как антисоветчика и диссидента. Потом все, вроде бы, утихло, утряслось. Но многие юрочкины рукописи, арестован-

ные *органами*, так и остались у них. И вот, представьте, недавно нас отыскал один молодой исследователь из Молдовы. И — ошарашил новостью! Он обнаружил в архиве КГБ пьесу Юры. Что за пьеса? Из жизни Древнего Рима. Но пронизана, как было принято в ту пору в либеральной литературе, современными аллюзиями. *Пьеса — гениальная! — твердит нам по телефону молодой человек. — Надо ее публиковать.* И он будто бы уже договорился с редакцией какого-то сборника. А мы — в растерянности. Юрочка утверждает, что он вообще никогда не писал пьес. Меня же в те годы еще не было рядом с ним. Может быть, это путаница, какая-то гэбэшная подстава? Словом, мы решили отказаться от этой публикации. Зачем? Что изменит она в нашей жизни?»

Из окна вижу: они идут по Devon Avenue, как всегда, неторопливо. Юра, словно вернувшись в детство, боится отпустить руку жены. И великая радость забвения, впервые сознательно выбранная и принятая их душами, делает их счастливыми.

*

Многие возмущаются пошлостью, она пронизывает в эмиграции все. Но пошлость — единственная, неизменная почва эмиграции.

*

Русский ресторан с характерным для эмиграции претенциозным названием — «Живаго» — поставили возле кладбища. В ресторане всегда есть посетители: после похорон сюда идут люди — *помянуть*. Мне это нравится. Вспоминая покойного, человек думает, конечно же, о себе. Мол, ты и сам, дорогой, не вечен. А что сделал, что успел? Приспосабливался, лгал. Закопал свой талант — так глубоко, что и не отыскать. Впереди же, как у всех, — земляная яма, обложенная цементными плитами. Но побеждает в этих размышлениях под рюмку водки все же подлая радость: ты еще жив, жив!

*

Мне всегда очень жаль русских врачей в Америке. Путь их предопределен и труден. Приезжают с дипломами российских мединститутков, когда им уже за сорок. Сдают — естественно, на

английском — экзамены, подтверждающие диплом. Учатся несколько лет в резидентуре (но попробуй туда попасть!). А ведь им надо еще успеть стать миллионерами.

*

«И твои кишки шлепаются на асфальт», — пишет о первых днях эмиграции Дина Рубина. В конце августа и в сентябре 1996-го асфальт в Чикаго плавится от жары. Наша прошлая жизнь куда-то бесследно проваливается — будто и не было. А новая жизнь никак не начнется...

Все, как у всех. «Депрессия наползает постепенно. Мир становится темным». Это Ольга Г. Хотя сейчас она делится со мной радостью: «...я сейчас — будто заново родилась. Будто кто-то снял с головы темный мешок». (1 мая 2007 г.). Надолго ли?

*

Саша Г. признается: «А за рулем машины я пою. Как ни странно, это всего две песни. «Окурочек» Юза Алешковского и «А ну-ка, парень, подними повыше ворот... «Часто пою даже тогда, когда мы едем вдвоем с женой. Ее это раздражает: годами — одно и то же». Задумывался ли кто-нибудь о том, что произведения на тюремно-лагерную тему важны для эмигрантов как своеобразная психотерапия? В пору глухой тоски я перечитываю самые безотрадные рассказы Варлама Шаламова.

*

Эмиграция — сон? Откроешь глаза и — ничего уже нет. Как, в сущности, мало осталось от русской литературной эмиграции 20–30 годов прошлого века. До нас дошли самые яркие имена, многие из которых были известны еще в дореволюционной России. А сколько молодых талантливых голосов мы так и не расслышали. Их творчество осталось горьким упоминанием — в чужих письмах и дневниках. Говорю об этом с литературоведом Олегом Коростелевым. Он сотворил чудо: реконструируя жизнь литературной эмиграции 20–30-годов, сделал не меньше, чем целый научный институт. И все-таки провалы литературной памяти огромны. Часто — необрати-

мы. Один из наивных вопросов, который задаю Коростелеву: как сделать, чтобы подобное не повторилось? (См. нашу беседу: журнал «Чайка», 2016, 10 июня)

*

За пятнадцать минут до закрытия русского книжного магазина на пороге появляется старуха. На голове у нее — белая панама (привет из далекого пионерского детства). В руке — большая соломенная кошелка: с такой моя бабушка отправлялась на рынок. Старуха, видно, здесь не впервые: сразу проходит к полке, где стоят книги по эзотерике. Что-то напряженно ищет, торопливо проглядывая оглавления книг.

— Могу ли я вам помочь? — обращается к ней продавщица.

— Нет, я сама, — решительно выговаривает старуха. Одна-ко смотрит на часы и, поняв, что приехала слишком поздно, вынуждена и впрямь обратиться за помощью: «Мне нужна книга о том, как изменить судьбу».

Смешно? Вряд ли. Опять та же, характерная для эмиграции тема — перемена судьбы. (2008, апр.)

*

Отвечая на вопросы издающегося в Германии журнала «Крещатик. Перекресток», который в 2017-м отмечал юбилей, вспоминаю вдруг о том, как после переезда в Чикаго с удивлением и радостью насчитал в городе 21 магазин русской книги. Пять из них располагались совсем близко от моего дома. Как ни странно, у каждого магазина было свое лицо. В одном продавались последние новинки, доставленные из Москвы самолетом. Хозяйка другого, выпускница Литинститута, не думая о прибыли, заказывала российские и переводные издания, пронизанные духом эксперимента. В третий меня притягивали монографии по искусству, альбомы репродукций художников. Однако уверен: самым удивительным был Дом русской книги. Здесь среди картин и гравюр, собраний сочинений, множества редких изданий меня всегда ждали неожиданные находки. И почти о каждой книге вдохновенно, словно читая стихи, рассказывал, если у вас было настроение спросить, гостеприимный владелец этого праздничного царства, писатель и режиссер из Одессы Илья Рудяк. Я часто приходил «на огонек» Ильи Эзравича: поговорить,

подышать особым воздухом — нет, не книжной пыли, воздухом русской культуры. Кстати, сюда так любил приезжать великий книголюб Евгений Евтушенко.

...Все эти магазины давно вышли из бизнеса. Их хозяева, в основном наивные идеалисты, разорились. Сейчас книги на русском продаются в Чикаго в трех киосках: один примостился в «русском гастрономе», два — в «русских аптеках».

Конечно, постоянно закрываются и американские книжные магазины. Дворцы в несколько этажей, куда человек нередко приходит на целый день. Книги и журналы здесь можно не только смотреть, но и читать. Здесь можно выпить с друзьями кофе, даже перекусить. И снова отважно путешествовать по книжному морю. Только вот путешественников — все меньше.

Уезжая в Америку, я с болью прощался со своей библиотекой, которую с не понятной мне самому страстью собирал с двенадцати лет. Разумеется, эти чувства испытали многие. А сейчас мы прощаемся с Читателем книги. Он уходит с пугающей быстротой. Мне все чаще кажется: эмигрантские издания читают только их авторы. (2017, дек.)

*

Нашествие гадалок, ясновидящих, потомственных колдунов. Сибирский шаман Аюн-батыр излечивает от бесплодия во время индивидуальных сеансов. Контактер с космосом Бонифатий меняет вашу судьбу... Моя приятельница М.К. была у контактера на приеме. «Он вам помог?» — «Очень! И мне повезло: я купила право обращаться к Бонифатию в любое время, без очереди. Могу звонить ему, получать его советы в любой трудной для себя ситуации».

«Сколько это стоило вам?» М.К. мнется, не очень-то хочет говорить, да и не принято это на Западе. Но она вспоминает о нашей дружбе. Потому все же роняет: «Пять тысяч».

Деньги достались М.К. не по наследству. Моя искренняя симпатия к этой грузной, уже состарившейся, все еще красивой женщине связана с ее мужественным сопротивлением эмиграции. Приехала в Америку в пятьдесят. Без английского. С тяжело больным мужем и двумя девочками-подростками. Объясняла мне когда-то: «Одна — дочь мужа от первого брака, вторая — общая; муж через год умер, надо

было быстро решаться на что-то...» Решилась, как многие — убирать чужие квартиры. Одновременно учила английский, стала водить машину, сдала экзамен, подтверждающий ее квалификацию химика-лаборанта (правда, в прошлой жизни она была химиком-исследователем, заведующей большой лабораторией), считала каждый доллар, выучила дочек, купила хорошую квартиру.

М.К. не идиотка. Но она одинока: у дочек — своя жизнь. А у нее обнаружили рак. И она перед выбором: делать операцию или пока подождать. Контактер — сладкий молодой мужчина с решительным взглядом — советует то, что М.К. хочет услышать: ждать. После консилиума врачей операцию М.К. все-таки делает. «Общаетесь ли вы с Бонифатием?» — спрашиваю несколько месяцев спустя. «С ним стало трудно связываться», — говорит М.К. без осуждения. Может быть, думая при этом о высших силах, которые еще вмешаются в ее жизнь.

*

На обложке русскоязычного чикагского еженедельника — портрет священника в церковном облачении. А в кавычках бьются его слова: «Прошу прощения у всех!» Михаил Ц., священник Апостольской православной церкви, дает интервью журналу. И горячо кается в грехах. В 1978-м, в Киеве, он только мечтал стать священником, но зато стал агентом КГБ. М.Ц. сам предложил свой псевдоним — Атос. (Псевдоним не случаен: будущий батюшка был фехтовальщиком, мастером спорта). Расставшись с КГБ и попав в США, М.Ц. ощутил в себе другое призвание. Он начал изготавливать международные водительские права для нелегалов-мексиканцев. Но однажды «нагрянул спецназ и меня объявили чуть ли не крестным отцом русской мафии в Чикаго... Вышел из тюрьмы под залог, а затем был условный срок». Все это — уже давно, двадцать лет назад. Теперь его голос дрожит: «...я хотел бы сегодня попросить прощения у всех за свои грехи и ошибки». Но нет, это еще не все. М.Ц. напоследок сделает подарок читателям: «В Чикаго я единственный священник, который, учитывая наши “военно-полевые условия”, может принять исповедь по телефону... конечно же, совершенно бесплатно». (Апр., 2018)

Предчувствует ли человек свою смерть? Ответ очевиден. Сразу вспоминаю множество историй. Но расскажу только одну, собственную.

Как и все, не раз слышу о нападениях грабителей в «неблагополучных» районах Чикаго. Советы бывалых людей: ни в коем случае нельзя спорить, убегать, сопротивляться, звать на помощь... Надо отдать все, что можешь и что потребуют. А лучше всего — имей в кармане небольшую сумму денег (вдруг перед тобой наркоман с помутненным рассудком? Он, не задумываясь, выстрелит или ударит).

Минувшей субботой иду из синагоги домой. Около часа дня. С утра был дождь, а теперь — сухо и чуть морозно. Иду, думаю: *«Вот и прошла жизнь... Нет, не так... Это ушла неопределенность юности и молодости. Теперь все впереди ясно. Не ясно одно: каким будет конец и когда он наступит...»*

Говорят, когда души спускаются в этот мир для того, чтобы облечься в плоть, точная дата нашего ухода отсюда уже определена. Как определена и миссия, с которой мы *приходим*. Конечно, Всевышний дает человеку выбор: *маршрут* нашего земного пути во многом зависит от нас самих. Но *последняя дата* неизменна.

Такие вот банальные мысли...

Идти мне минут пятнадцать. Неожиданно в одном из переулков (около стройки, где возводятся скромные двухмиллионные особняки) догоняют меня два афроамериканца. Лет восемнадцати. Прилично одеты. Один забегает вперед, протягивает мне руку: «Гуд шабес!»

И тут же, с другой — угрожающей — интонацией: «Давай деньги... Быстро... Иначе буду стрелять».

Опускает руку в карман куртки, вынимает оттуда револьвер, снова прячет его, наставляя на меня дуло через куртку.

Почему я спокоен? Может, потому что тут же вспоминаю свои размышления — всего несколько минут назад. Неужели Всевышний именно так готовил меня к смерти?

«У меня нет денег». Это правда. В шаббат евреям не полагается брать в руки денежные купюры.

Парни оглядываются. На улице по-прежнему — ни души.

— Я считаю до трех и буду стрелять... Раз... два...

Он считает до восьми. А я жду выстрела. *Неужели это, действительно, все?*

Словно по чей-то подсказке, вдруг снимаю с себя новое итальянское пальто:

— Это вам!

Поняв, что денег у меня действительно нет и проигнорировав мое пальто, они разворачиваются и — уходят.

*

Четыре дня спустя все это по-прежнему выглядит странно.

Странно: в шаббат в нашем районе, где живут в основном ортодоксальные евреи, на улице не было прохожих (а в синагогах как раз закончились службы). Странно то, что *они* появились здесь. И то, что безмолвно ушли.

*

Это была репетиция ухода или только сон наяву?

2018

ПЕРЕЧИТЫВАЯ МОЛЧАНИЕ

Нет ничего более важного для человека, чем память. И нет ничего более хрупкого — может быть, лишь сам человек.

Один хасидский учитель заметил прозорливо: «Память — это освобождение». Однако в конце жизни память вдруг отказала ему. Рассказывают, что однажды, произнося большую речь, он остановился. И забыл все, о чем говорил.

Мне неловко и горько признаваться в потере памяти. Правда, произошло это не сейчас, на излете жизни. А в дни ее восхода.

*

Как отзывается во мне эта картинка из прошлого? Как ни странно — улыбкой. Учась во втором классе, вдруг сталкиваюсь с препятствием, которое повторится потом множество раз. В школе задали выучить стихотворение. Оно легко начинает жить во мне. Но... через две-три недели улетает от меня навсегда. Остаются отдельные строчки. Обидно: мой труд не просто пропадает — я могу незаслуженно оказаться в числе лентяев и двоечников. И тогда догадываюсь: нужно постараться, чтобы меня обязательно вызвали на уроке прочитать стихотворение. Сразу. Пока помню.

Неужели так было со всеми школьными предметами? Почти. Без напряжения писал только диктанты, изложения и сочинения. Ну, конечно, здесь меня выручала так называемая зрительная память — помогала страсть к чтению, которой заболел лет в семь.

Об этой своей *особенности* никому не рассказывал. Понимал: что-то со мной не так, но не расстраивался. «Наверное, бывает».

Катастрофа, никем, впрочем, не замеченная, произошла в седьмом классе. Химия, физика, математика... Отдельные зада-

ния выполняю на четверку или пятерку. Но механически. А в целом ничего не понимаю — «темный лес». После восьмого класса перехожу в вечерне-заочную школу. Там учебные дисциплины разбиты на отдельные кусочки-разделы, существует система зачетов. Вот это для меня!

Между тем уже с четырнадцати лет пишу статьи — иногда огромные — в молодежной газете. Сначала — о «проблемах школы», затем — кино — и театральные рецензии.

Университет. Факультет журналистики. Опять готовлюсь к экзамену за несколько дней. Передо мной прежняя задача — надо сдать быстро. Через неделю помню материал плохо. Через месяц — почти забываю. История партийно-советской печати, политэкономия, основы научного атеизма, история КПСС и пр., и пр. Все это благополучно провалилось в черную дыру. Однако историю русской и зарубежной литературы на факультете журналистики учат по программе филфака. И эти знания *остаются* со мной! Я с радостью делаю вывод: в мою память щедро входит то, что мне интересно и дорого. Увы, эта закономерность не абсолютна. До сих пор не помню *ни одного* стихотворения. Даже любимые. Когда начинаю сам читать лекции студентам, цитирую, испытывая стыд, знаменитые стихи по книге или конспекту.

Что же случилось со мной? Только во второй половине жизни начал «расследование». И, кажется, что-то прояснилось. Меня отдали в детский сад, когда мне было три года. Именно так: не в ясли — в детский сад. Мама тогда работала в ОблОНО и сумела это *устроить*. Однажды вечером, приведя меня домой, она обнаружила: сын перестал говорить. Утром она начинает *допросы* в детском саду. Тот же главный вопрос: что случилось? Когда детей днем выводили на прогулку, я упал в большую яму; следом за мной туда прыгнула собака; мое исчезновение не сразу заметили: маленький, я шел в стороне от всех... Сильный испуг. Молчал целый год. Родители в панике, обратились к профессору мединститута, который творил чудеса гипнозом. Тот отказался лечить: ребенок слишком мал. Нашли общих знакомых, уговорили. Вылечил. Но не от этого ли стали появляться дыры в памяти?

Всю жизнь учитываю эти возможные «дыры». Когда пишу литературоведческие или критические работы, по несколько раз проверяю каждый факт. На полях рукописи то и дело ставлю: «св». — то есть «сверил».

*

Помню ли, однако, этот вкус молчания? Мне кажется, помню. Особое, бессловесное общение с миром. Когда ко мне возвращается речь, часто задаю себе вопросы: почему стол называется стол, почему яблоко нельзя назвать сливой?

Потом эти вопросы тоже забылись. Ушли. Их никогда не забывают поэты.

*

В январе 1992-го я позвонил в Иерусалимский институт талмудических исследований каббалисту и мудрецу Адину Штейнзальцу. Попросил о встрече: хотел задать вопросы, без ответа на которые, казалось, невозможно жить дальше. «Рав Штейнзальц в эти дни занят. Долго ли вы будете в Израиле?» — «Еще месяц. Когда мне можно снова позвонить вам?» — «Не беспокойтесь. Мы вас найдем». Конечно, подумал, что это вежливая отговорка: я сам не знал, куда отправлюсь завтра. Но через две недели, в Хайфе, вернувшись вечером в дом друзей, услышал: «Звонили от рава Штейнзальца. Он ждет вас».

Штейнзальц встретил меня неожиданной фразой: «У меня для вас есть подарок». И тут же объяснил: «Я подарю вам ваших родных». Он протянул мне стопку ксерокопий из различных еврейских энциклопедий. Это были статьи о Цейтлиных — известных раввинах, писателях, финансистах. Штейнзальц не сомневался: я, как большинство советских евреев, скорее всего ничего не знаю о своих предках. Увы, так и было. «Но, возможно, все они только мои однофамильцы?» — робко переспросил я. «Фамилии у российских евреев появились относительно недавно — генеалогию не так уж трудно проследить. К тому же я сам занимался фамилией Цейтлин. Не правда ли, ваш отец родился в Могилеве или в Шклове?»

...Да, мой папа Лев Григорьевич Цейтлин (1920—1980) родился именно в Могилеве. В тридцатые годы его семья по-

пала в Сибирь — может быть, была сослана, но отец не хотел говорить об этом. А моя мама — из семьи сибирских евреев. Любопытный парадокс, связанный с чертой оседлости: до революции евреев не пускали даже в холодную Сибирь. Исключения делали редко — в том числе для бывших солдат-кантонистов, каковым и был мамин дедушка. Я хорошо помню деда Абрашу — с седыми усами и бородой, в белом полотняном костюме; он был портным-закройщиком, работал едва ли не до девяноста лет, водил меня, малыша, в омскую синагогу, пока та в одночасье не сгорела.

*

Наш разговор со Штейнзальцем записал на диктофон. Однако воспроизвести запись оказалось невозможно. Сначала я решил, что это дефект пленки. Но потом прочитал рассказ журналистки, бравшей у Штейнзальца интервью: «Как обидно, что наша беседа осталась только в моей памяти. Магнитофон запечатлел молчание».

*

Мама умерла пять лет назад. Ей шел девяностый год. Но она хотела и могла жить еще долго. Она застенчиво делилась со мной историями о людях, которые легко перешагнули столетний рубеж. А я с удовольствием подтверждаю: «Так будет и с тобой». Никаких «страшных» болезней у нее не было. По статистике, явно неточной, причиной сорока процентов смертей в США являются врачебные ошибки. Ошибка, погубившая маму, состояла прежде всего в том, что ей в течение двадцати лет выписывали болеутоляющее средство — вайкодин. Это лекарство заглушало сильные артритные боли. Но оно приводит к галлюцинациям. Мама вдруг стала подолгу говорить со своей маленькой правнучкой, глядя на ее портрет. Та, разумеется, в это время находилась за много километров от прабабки. Еще казалось ей: на декоративном балкончике квартиры танцуют цыгане. И кто-то заглядывает в комнату через глазок входной двери. Я не раз беседовал об этом с маминым врачом. Та успокаивала: «Не удивляюсь. Восемьдесят процентов моих пациентов — в подоб-

ном состоянии. Давайте, я угадаю, что мерещится вашей маме?» В самом деле — угадывала. Одновременно почему-то лгала: «Лекарств от этого пока не придумали».

За пару месяцев до смерти мама стала путать меня с покойным мужем, моим отцом. «Лева, — спокойно обращалась ко мне, — что у тебя нового?» Лева, на которого я вправду стал очень похож, уже тридцать пять лет лежал на кладбище. «Это Евсей, твой сын». Мама лукаво улыбалась. Она явно пыталась пробиться к истине. И — не могла. Спрашивала назавтра: «Так кто же ко мне пришел — мой сын или муж?»

Потом сознание прояснилось. Но иногда в госпитале, когда проверяли пациентку на вменяемость, не могла вспомнить свое имя. Называла другое. Видимо, более отвечающее ее внутренней, глубинной сути. Мама родилась в 1926-м, ее назвали: Нинель. Я не сразу понял, что это перевернутое: ленин. Сама она, кстати, на этот произвол родителей не жаловалась.

Мама была сильной личностью. Куда мне до нее! В юности, учась в техникуме, разбила голову старшекурснику-антисемиту. Просить прощения наотрез отказалась и была из техникума изгнана. Шла война; чтобы иметь право на паек, девочка пошла работать на завод. Однажды получили телеграмму: по дороге на фронт мимо Омска будет проезжать брат. Начальник цеха (кстати, еврей) отказался отпустить ее на вокзал. Бросила ему в лицо коробку с деталями, которые проверяла. Под суд не отдали, но поставили работать на пресс: там мама потеряла половину указательного пальца на правой руке.

Виню себя до сих пор за то, что ссорился с ней. Причина была банальной — на девятом десятке жизни мама была уверена: с ней не может случиться ничего плохого. И, разумеется, она не может простыть. Ее трудно было заставить надеть шарф, тем более — шубу. Помогал только один аргумент: «Завтра у тебя будет воспаление легких, а сидеть с тобой придется мне».

Конечно, «сидел» с ней с радостью. В последний месяц жизни мама лежала в коме. Но, подъезжая к госпиталю, замирал, как всегда, от предстоящего счастья: сейчас увижу маму.

*

Когда на концерте скрипача Игоря Безродного я увидел свою будущую жену, сразу почувствовал: родной человек. Регина была очень красива, но я почему-то тогда не обратил на это внимания. Напротив, долгие годы меня раздражало, что на это обращают внимание другие. Она была студенткой: разумеется, будущий филолог. Но до этого окончила фельдшерское училище и все еще работала операционной сестрой в больнице. Мы встречались на железнодорожном вокзале, который я очень любил. На вокзал она часто приезжала уставшая, после дежурства. Мы пили кофе с коньяком. И молчали, боясь угадать будущее.

*

Через два дня после свадьбы уехали в Киргизию. Преподавать русский язык в деревенской школе. Почему в Киргизию? В зале ожидания вокзала стояла странная машина — автоматическое справочное бюро. Однажды, решив пожениться, мы поочередно ткнули на клавиши. Выскочили названия двух городов, бесконечно далеких от Омска: Фрунзе и Таллин. Выбор был предопределен: меня всегда притягивал к себе восток. А Регина тогда и потом заранее принимала мой выбор.

*

Наш аул логично распадался — для нас! — на две части. В одной была школа и электричество. В другой стоял дом, куда нас поселили. Здесь электричества не было, зато почти сразу за окном начинались горы.

Мы долго ходили в горы, летом и осенью — до тех пор пока не пришли холода. Казалось: горы многое помнят и знают, но молчаливо скрывают это от нас.

Детей в школе-десятилетке было немного. Они смотрели на нас с Региной как на невиданных, случайно залетевших в их мир птиц. Так оно, конечно, и было. По-русски говорили плохо, тем более — писали. Путали значения слов. Девочки прижимались к Регине, вдыхали незнакомый запах ее платья.

Хозяином нашего дома оказался всегда пьяный киргиз лет сорока. Его звали Нурбек. Смотреть на него было иногда радо-

стно, иногда — страшно. Он до блеска брил голову, отчего казалось: лицо начинается от самого затылка. В ауле его любили давней и верной любовью. Залогом той любви были две профессии этого человека. Во-первых, он был хорошим ветеринарным врачом. Во-вторых, он делал обрезания киргизским мальчикам. Не на восьмой день жизни, как положено у евреев. А в три, пять или семь лет. Я расспрашивал Нурбека о технологии этого священного у мусульман процесса. «Тут нет никакого интереса», — отговаривался он лениво. Я пытался также понять, почему этот уважаемый в ауле человек регулярно бьет смертным боем свою жену.

Она была лет на десять моложе мужа. И преподавала в нашей школе химию. Однако существовало и другое, видимо, более важное для нее расписание, чем расписание уроков. Время от времени Гулжан среди белого дня уезжала на мотоцикле или просто уходила пешком в горы — едва ли не с первым встречным мужчиной. Причем она ничуть не стеснялась свекрови — крикливой старухи, на которую оставляла своих пятерых детей. Кстати, не стеснялась и нас с женой.

Когда Нурбек бил ее, связав перед этим руки веревкой, Гулжан молчала. Может быть, не хотела пугать детей, которых свекровь уводила в дальнюю комнату. Только плотно сжимала губы и с ненавистью смотрела на мужа.

Самое простое и неверное было заподозрить у нее болезненную страсть, с которой трудно справиться. Тем более речь шла о женщине, воспитанной в мусульманских традициях. Наверняка, думал я, ее мучило другое. В ауле не хранили чужие тайны. А, может, не считали необходимым что-то скрывать от нас, мимолетних встречных. Через месяц мы услышали от кого-то горький и сочувственный рассказ о Гулжан. Она мстила мужу. Ей было пятнадцать, когда он, как всегда пьяный, изнасиловал ее, увезя в те же старые горы.

*

Иногда к нам доносилось эхо из другого мира, который казался теперь таким далеким. Хотя там было все то же, что и здесь: жили, мечтали, страдали и умирали люди; кто-то молчаливо и твердо определял линии их судеб.

Почтальон приезжал верхом на лошади. Однажды он привез мне письмо от Вари, учительницы из сибирского городка Т. (Письмо Варя прислала по омскому адресу, а мама запечатала его в новый конверт и отправила в Киргизию). Я сразу вспомнил этот городок с маленькой пристанью и деревянными тротуарами; в нем хорошо жить, когда выйдешь на пенсию, — тихо и много зелени, сразу за окраинами — роща, и в траве, между березами, растут медунки — голубые нежные цветы. Я был там в командировке, год назад. Всего-то несколько дней. Провел в выпускных классах местной школы сочинение «Мои мечты на пороге будущей жизни», а потом опубликовал очерк в молодежке. Варя и ее подруга Зина, преподававшие литературу выпускникам, поили меня чаем с конфетами и пирогами, показывали «достопримечательности», наконец, проводили на теплоход, подарив на память томик стихов Пастернака, изданный в малой серии «Библиотеки поэта».

Теперь Варя писала, что ей плохо: поздней осенью умер отец, его похоронили на новом кладбище за соцгородком, земля там плохая, каменистая, и мужики матерились, когда копали могилу, а она, Варя, плакала.

Варя также сообщила, что семеро бывших выпускников (из тех, что делились со мной мечтами) находятся сейчас в заключении: «трое попали туда за грабеж, четверо — за хулиганку». А в школе все по-прежнему, только старый завуч Капустин («Вы ведь познакомились с ним?») ушел на пенсию и пишет реферат о реализме пушкинской повести «Капитанская дочка»; церковь, закрытую еще в тридцатом, окончательно перестроили в детскую спортивную школу; в гастроном теперь привозят хорошие конфеты — «Белочку» и «Мишку на севере», а не только «Татьяну на юге» — липкую рублевую карамель; по вечерам они с Зиной пьют чай в саду Зининой бабушки, спускаются к реке и долго слушают шум тяжелых волн Иртыша.

Я дочитал письмо, потушил керосиновую лампу и, поплотнее укутав Регину одеялом, подошел к окну. Стал думать о людях, которых скорее всего никогда уже не увижу. Мы с Варей и Зиной неожиданно стали теперь коллегами. Варя бесконечно одинока — иначе вряд ли бы прислала письмо-исповедь, в сущ-

ности, малознакомому человеку. А вот старик Капустин счастлив. Всю жизнь он прослужил учителем математики, перенес две операции на сердце, скоро умрет, но думает о реализме пушкинской повести, насколько не заботясь о том, что его изыскания никому не нужны.

*

Томик Бабеля. И небольшой, явно кастрированный в издательстве сборник воспоминаний о нем. Нашел обе книги в районной библиотеке и не хочу расставаться с ними. Вновь и вновь — отчетливо или неявно — Бабель напоминает себе слова Екклесиаста: «Все — из праха, и все возвратится в прах...» Вновь и вновь Бабель проверяет древние истины. Самые очевидные. Одной своей знакомой — Т. Стах — он расскажет, что наблюдал «кремацию Эдуарда Багрицкого. Его пустили куда-то вниз, куда никого не пускают, где в специальный глазок он мог видеть процесс сжигания. Рассказывал, как приподнялось тело в огне и как заставил себя досмотреть это ужасное зрелище».

*

...И в Киргизии, возле гор, морщинистых от старости, я опять задавал себе вопрос: зачем живет человек? Вопрос не был абстрактным. Возле нашего дома обитал в маленькой юрте старик, от которого — так говорили — сорок лет назад ушел рассудок. Было это в коллективизацию. Старика раскулачили, тут и случилось помутнение разума. Трех его жен отправили в Сибирь. А старик остался жить в этой ветхой юрте, которую зимой насквозь продували ветра. С весны до поздней осени он сидел на грязном войлоке, подставляя лицо солнцу. Когда я впервые спустился к арыку за водой, старик вежливо попросил у меня закурить. Я не курил, но вскоре стал покупать в деревенском магазине папиросы «Беломорканал» — специально для нового приятеля. После окончания уроков жена готовила обед на примусе, который нам подарила директор школы Джипара Османолиевна. А я частенько шел к арыку. Не договариваясь, мы встречались там с Сабиром — так звали старика. Сидели на берегу, на больших валунах, и смотрели, как внизу вода резво играет с камнями. Вскоре я понял, что

мой собеседник абсолютно нормален. Видимо, в этом не сомневались и его односельчане. Но никто не выдал его, хотя, как я обнаружил, в ауле у старика были враги. Однако донос вряд ли бы достиг цели: многолетний спектакль «Сумашествие» был поставлен профессионально. Сабир и сейчас, спустя несколько десятилетий, был, кажется, самым образованным человеком в округе. Спокойно ответил мне, что окончил гимназию. Он все еще смутно помнил несколько языков и великолепно говорил по-русски. Конечно, Сабир изучил все симптомы своей мнимой болезни и легко мог обмануть врачей.

В ауле к нам с женой относились со снисходительным радушием. Постоянно приглашали в гости. Но у нас образовалась и своя маленькая компания, «русских»: там было два еврея (мы с женой), секретарь школы — немка и украинка-фельдшер. Однажды нас четверых позвал к себе молодой учитель физкультуры. Он был еще не женат, жил с родителями. Конечно, приглашение было неслучайным. Сначала я подумал: парню понравилась одна их «русских» девушек. Однако он никого из них не выделил. Зато со мной начал долгий разговор дед физрука. Заметив, что я часто общаюсь с выжившим из ума Сабиром, его ровесник решил открыть мне глаза. Оказывается, когда-то *мой* старик был сказочно богат: ему принадлежали многочисленные стада овец. Оказывается, он соблазнил в ауле немало юных красавиц, хотя потом устраивал их свадьбы. Тех, кто решался спорить с ним, жестоко наказывали. Как? «Сажали в кожаный мешок и бросали в арык. Преступника вылавливали на другом конце аула. Очень часто — с ранами и увечьями».

На следующий день я не стал ни о чем расспрашивать Сабира. Только поинтересовался, как он справлялся, имея столько женщин, со своими мужскими обязанностями. Вопрос показался старику серьезным. Он рассказал: надо варить суп из голубей. Впрочем, можно делать жаркое или просто запекать тушки птиц. Я записал подробный рецепт, но потом за ненадобностью его потерял.

Чему научил меня Сабир? Ничему. Рядом с ним было хорошо молчать. Психологи считают, что молчание загадочно передает основную информацию о человеке. Я сидел рядом с Сабиром

ром и постепенно читал его жизнь. Ту, от которой он уходил. И ту, которую он принял. Впрочем, может быть, в этом и состоял его урок. Ничто не ново. А вечны только горы, небо и ледяная вода в арыке.

Зимой бывший богач впадал в спячку. Односельчане с тревогой заглядывали в его жилище: жив ли? Оставляли лепешки, банки с айраном — кислым молоком.

К новому году стало ясно: Регина носит нашего ребенка. Отправив ее к родителям, я вел все уроки русского языка в школе. С Сабиром мы теперь виделись редко. Мне показалось: он, как и я, скучал без наших встреч. Но летом, приняв выпускные экзамены, я уехал из аула, чтобы никогда туда не вернуться.

Перед тем, как отправиться автобусом в райцентр, пришел к знакомой юрте. Она была пуста. У меня не было времени искать Сабира. Попрощался с ним молчаливо, положив на выцветшее ватное одеяло две пачки папирос.

*

«Не кажется ли вам, что ваша внучка знает что-то такое, чего не знаете вы?» Это спрашивает у меня Алина Л. Хочу убрать знак вопроса. Ну, конечно. «Свежая душа, ничем материальным не замутненная. Только оттуда», — добавляет Либа Б.

Я вздрогнул, когда на второй день после рождения внучки почувствовал на себе ее ясный и строгий взгляд. Вспомнил рассказ из Агады, содержащей бессмертную колледию еврейской мудрости. Считается, что младенцы, находясь в утробе матери, знают всю Тору. Но потом, когда ребенок появляется на свет, ангел бьет его по губе: сокровенные знания должны быть пока забыты.

Похожий взгляд я еще раньше находил у дочери. Вот ей пять лет. Она добросовестно и с неизменным успехом ломает все игрушки, которые попадают ей в руки. Однажды не выдерживаю, разворачиваю ее и шлепаю несколько раз по мягкому месту. Слышу вдруг: «Опомнись. Что ты делаешь? Ты бьешь ребенка!» И осуждающе, не обещая прощения, смотрит на меня.

В 2003–2004-м меня долго не отпускает дневник Эжена Ионеско, точнее — выборки из его многолетних дневников (Москва, 1992). Делаю закладки среди страниц, к которым хочу вернуться. Ну вот, например: «Смерть превращает реальность в нечто ничтожное, нереальное. Смерть кажется мне единственной истиной, она конечна. Она — стена, за нее мы не можем заглянуть».

Прилетев в Париж, я легко нахожу на кладбище Монпарнас могилу Ионеско. Он умер десять лет назад (1994), а сейчас здесь похоронили его жену, о судьбе которой (без него) так беспокоился автор дневника.

Возвращаясь домой, возвращаюсь к его беспрекословно честной книге. И слышу шаркающие шаги старости. Ионеско рассказывает о том, как гостит с женой в старинном замке, принадлежащем теперь обществу драматургов. Автор «со смущением и стыдом» делится «чисто личной тревогой»: «прекрасный замок XVIII века, где мы живем, недостаточно оснащен санитарными удобствами. В маленьком уголке нашей комнаты (самой красивой в замке) есть душ, раковина, биде... Но "маленький уголок" рассчитан на многих; на данный момент нас восемнадцать человек... на нашем этаже только два туалета...» Кажется, это волнует его сейчас больше всего. Но нет: «Пугающее и поразительное забвение собственных имен! <...> Мою тревогу порождает страх перед пустотами, перед зияниями: зияниями небытия. Без помощи моей жены мне трудно вспомнить имя великого английского актера, исполнявшего в Лондоне роль Беранже в «Носороге». (Теперь я вспоминаю, это был Лоуренс Оливье.) ...никак не могу вспомнить имя того русского, поэта, получившего Нобелевскую премию, которому не разрешали выехать из страны, чтобы получить ее... Но победа, победа, это был Борис (?) Пастернак».

Создатель «театра-крика» говорит совсем тихо, почти шепотом.

2020

КТО-ТО В ЗЕРКАЛЕ

Лучше всего быстрый — невзначай — взгляд в зеркало.
Глубокие морщины на лбу.

Борода, которую забываю постричь. (Когда-то в ней была легкая проседь, сейчас — редкие черные крапинки).

Традиционная — для иудеев — кипа.

Почему не узнаю себя в зеркале?

Это обычное столкновение всегда юной, точнее — вечной души и скукоживающейся, изрядно износившейся телесной оболочки.

Вопреки зеркалу мы долго ощущаем себя молодыми. Прозрение наступает внезапно. Когда один за другим уходят из жизни ровесники.

*

Меня нашел с помощью Интернета писатель А.Л. Мой старый сибирский приятель. Он со сдержанной гордостью рассказал: выпустил десяток книг, стал заслуженным работником культуры... Он все так же жил на улице, по которой мы бродили полвека назад. Конечно, я стал спрашивать Сашу об общих знакомых. Тех, с кем работали вместе в газете или посещали литобъединение при Союзе писателей. Ответы звучали одинаково: умер. Разными были подробности смерти. Например, бывший редактор молодежи добродушный и улыбчивый В. устроил у себя в ванной комнате нечто вроде парной. Однажды не смог выйти оттуда. «Кажется, он сварился заживо», — написал Саша.

«Человек — как трава, дни его, как цветок полевой, так отцветает он. Потому что ветер прошел по нему — и нет его, и место его больше не узнает его», — давным-давно сказано в одном из псалмов царя Давида.

*

Любой литератор, у которого хватит мудрого терпенья трезво взглянуть на свои сочинения и труды тех, кто шел дорогой литературы до него, рано или поздно спросит себя: а зачем ты водишь перышком по бумаге? Если уже были Лермонтов и Толстой, Гончаров и Чехов, Бунин и Набоков? Наивно думать: все дело в том, что в тебе сидит неутомимый графоман. Тем более, что многие пишут трудно, порой — мучительно.

Душа каждого человека спускается в этот мир с какой-то миссией. Некоторым выпадает миссия литератора.

*

Начиная с раннего детства, я был уверен, что должен разгадать какую-то тайну — очень важную для себя.

Сначала искал эту тайну в книгах. И к двенадцати годам торопливо прочел целую библиотеку русских и западных классиков.

В пятнадцать стал профессиональным журналистом.

В девятнадцать женился и уехал в киргизский аул преподавать русский язык, но главное — беседовать с аксакалами.

Эта цель на долгие годы определила мою жизнь. Годы складывались из встреч и поездок. Сейчас, как в калейдоскопе, передо мной мелькают: лица сибирских шаманов, тайных учителей йоги, поселения исчезающих северных народов, лаборатории патологоанатомов, глаза слепых провидцев, монастыри, иешивы, читальные залы архивов...

С тайны начинаются и мои книги, хотя все они — о людях искусства. Самая первая книга, написанная молодым человеком, рассказывает о том, как научиться управлять вдохновением и стать писателем. Моими героями были: один из самых ярких и загадочных представителей русского литературного авангарда 20-х годов прошлого века Всеволод Иванов, основоположник литовской поэзии пастор Кристионас Донелайтис... Впрочем, еще чаще меня привлекали таланты, не успевшие себя реализовать, только догадавшиеся о своем предназначении. Звезды, мелькнувшие на литературном горизонте и — погасшие.

*

Читаю интервью с поэтом Томасом Венцловой. Рассказ Т.В. о том, как он впервые ездил к Ахматовой и об ее отношении к молодым поэтам. А.А. хвалила всех, считала: ругать *невежливо*... Но *молодые* знали: если Ахматовой действительно нравятся стихи, она скажет: у вас есть тайна.

*

Странность, которую хочу обязательно объяснить самому себе. Почему юный автор выбрал для своей работы в литературе «скучные» жанры — критику и литературоведение?

Не было никакого наития. Думал о справедливости.

«...Рукописи не горят, но сгорают человеческие судьбы. Тут одна из горьких тем подлинной, еще не написанной истории нашей литературы». Так начинается моя книга «Писатель в провинции» (Москва, «Советский писатель», 1990). А в 70–80-е годы я напечатал десятки статей и очерков о талантливых провинциальных авторах, которых не замечала столичная критика. Публикации во многих журналах и сборниках, цикл из семи книжек... Увы, они ничего не изменили в судьбе героев.

*

Ирония судьбы или все же предназначение? Почти полвека читаю чужие рукописи.

Что более всего поражает в этом потоке? Нет, даже не ужасающая неграмотность. Банальность мысли. Литературные штампы, которые благополучно кочуют: не через десятилетия — через века.

*

Почему автор обращается к литературному штампу? Легче всего обвинить его в лени. Или опять назвать графоманом. Однако, на мой взгляд, существует другая причина — недостаток внимания. А внимание, в сущности, и есть основа таланта писателя.

*

В СССР долгие годы твердили о необходимости изучения литератором жизни. «Изучать жизнь» писатель отправлялся за полярный круг, на целину, в крайнем случае — в заводской цех. Между тем писатель должен быть прежде всего внимателен к одному человеку — к самому себе. Процесс самопознания — главный в «изучении» литератором жизни. И он, конечно, никогда не заканчивается. Вот почему нет преувеличения в знаменитых словах Флобера: «Мадам Бовари — это я».

*

Писатель должен быть интересен самому себе. Звучит неожиданно? Что это — эгоцентризм? Нарциссизм? Назовите как угодно. Но без такого жадного интереса автору не проникнуть в тайну человеческой души.

*

Невежество — еще одно несомненное качество сегодняшнего «молодого литератора». По крайней мере в эмиграции, где живу почти тридцать лет. Помнят пять-шесть имен: Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Бродский, Довлатов... А еще помнят о своей «самобытности»: не дай Бог нивелировать, затоптать ее чрезмерным чтением!

*

Почему писатель должен знать и своих литературных предшественников, и современников? Есть несколько ответов, и все верны. Чтобы избежать повторения пройденного. Чтобы почувствовать живую традицию литературы. Чтобы зарядиться энергией вечного поиска.

*

В конце восьмидесятых, когда советская империя уже дышала на ладан, я стал записывать устные рассказы евреев. Это решение пришло не сразу, к тому же необычно — во сне. Почти каждую ночь мне снился старый еврей с большими пе-

чальными глазами. Он неизменно молчал, но при этом, кажется, о чем-то меня просил. Проснувшись, я попытался понять — о чем? Наконец, догадался. Миллионы людей (несколько поколений), думал я, могут уйти в небытие, так и не рассказав правду о себе и своем времени, когда само слово «еврей» было зачастую непригодно на языках народов СССР.

Только спустя много месяцев я осознал, насколько резко переменял — переломил — свою жизнь. Из успешного литературоведа и критика, вузовского доцента я на долгие годы превратился в интервьюера, гонящегося за людскими судьбами.

...Исход из страны красных фараонов становился тогда массовым. Своими историями — в чем-то невероятными, в чем-то обычными — делились со мной активисты недавно возникших еврейских организаций, бывшие узники гетто и концлагерей. Я слушал невольные признания в очередях у посольств. Встречался с литераторами, писавшими на идиш, их вдовами, детьми: чаще всего это были люди, чьи души навсегда искорежил страх.

А в самом начале девяностого мы с женой перебрались в Литву, которая тогда отважно — многие полагали: с самоубийственным упорством — пыталась отделиться от СССР. Знакомым и родственникам наш переезд показался неожиданным, даже опасным. Я думаю, однако, сейчас: это был один из самых правильных поступков в моей жизни. Во-первых, я давно сопереживал борьбе маленькой республики: по-русски и по-литовски уже вышла моя книга о Кристионасе Донелайтисе, который был не только основоположником национальной литературы, но и духовным «дедушкой» Саюдиса. Во-вторых, решил я, именно здесь логичнее всего продолжить записи еврейских историй — ведь литваков (так издревле называют литовских евреев) во многом обошли ветры ассимиляции.

...Общество спешило резко и сразу сбросить ледяной панцирь советских догм. А люди оттаивали трудно. Мне не раз казалось: мои собеседники мысленно оглядываются: «Где я?» Словно переспрашивают себя: «Что случилось за

эти десятилетия с душой?» Они часто воспринимали лежащий на столе диктофон как возможность очиститься, вернуться к истоку. Я разработал даже особую систему проведения интервью — психологи сравнивали ее потом с методом Фрейда.

В моих тетрадках появились записи «еврейских снов». Мне казалось: разгадывая их, можно понять чужое молчание.

*

Что для меня самое сложное в написании книги?

Трудно ответить на, вроде бы, простой вопрос: что эта книга откроет в твоей судьбе, что прояснит в твоей собственной жизни? Ничего странного, кстати, в таком вопросе нет. Ведь в конце концов каждый автор пишет прежде всего для себя.

*

Вот уже почти четверть века моя книга «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», изданная в 1996-м Еврейским музеем Литвы, живет, в сущности, самостоятельной жизнью. О ней пишут критики; ее перевели на литовский, немецкий, украинский, испанский, английский. Но читая корректуру очередного издания на русском, я удивляюсь: не только многие детали — целые фрагменты текста совершенно исчезли из памяти.

Зато хорошо помню, как писал эту книгу.

Необычный эксперимент. В течение пяти лет мы ведем его вместе с моим героем Йокубасом Йосаде (в дневнике, из которого сложилась книга, называю героя i).

В преддверии смерти тяжело больного i записываю его исповедь на магнитофонную пленку. Пройдя путь, типичный для интеллектуала его поколения (жизнь, скроенную из иллюзий, предательств, того же страха), i жаждет исповеди. А я хочу прорваться — сквозь наложения психологических клише — в лабиринты чужого сознания. Меня интересуют не только внешние, пусть и трагические, скрещенья «века-волкодава» и хрупкой человеческой судьбы. Мы говорим о мотивах его бесконечных компромиссов, о самоуничтожении та-

ланта (і пошел на это, стремясь выжить физически; после войны, когда в СССР начались антиеврейские кампании, Янкель Йосаде сменил имя и язык — раньше писал прозу на идиш, теперь — с огромным трудом — стал литовским критиком и драматургом).

...В разные годы нередко задаю одни и те же вопросы. Получаю порой разные ответы. Примечательные парадоксы человеческого сознания.

В течение этих пяти лет понятие «счастливая смерть» тоже возникает в наших беседах по-разному. Иногда кажется: это возвращение (хотя бы в конце жизни) к самому себе, к своей божественной душе, о которой ты забыл и которая напоминает о себе. А на самом краю своего земного существования і признается: «Мой дорогой, мне ничего не надо. Ничего... Знаете, отсутствие боли — это и есть счастье. Именно так: отсутствие боли. Это о т с у т с т в и е опьяняет тебя и тогда наплывает дремота. Ты куда-то плывешь — все дальше и дальше. Что может быть лучше этого? Все дальше и дальше... Вот и все».

*

Из предисловия автора:

«...Мысли, сознание человека, идущего к смерти. Вот предмет моего повествования. Вот что определяет интонацию, диктует сюжет...»

*

Почему люди пугаются самого этого слова: смерть?

«Я еще не готов читать вашу книгу», — говорит мне нью-йоркский писатель Б.Н.

Известное российское издательство готово напечатать «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», но ставит условие: «Вы должны обязательно сменить название. Оно отпугнет немало читателей». Это условие принять не могу: одной из главных моих задач была реконструкция человеческого сознания при свете смерти.

Добавлю: в иудаизме смерть физического тела означает только остановку на пути нашей вечной души к новой жизни.

*

Книга была во многом экспериментальной и потому, что ее можно прочитать по-разному. Автор старается избежать любой «тенденции», дистанцируется от героя, но одновременно становится его «зеркалом».

«Напишите книгу сами», — обращается автор к читателю. И настойчиво предлагает составить из глав-«кубиков» собственное повествование, посвященное i.

*

В ноябре 2016-го я получил письмо от русско-французского писателя Николая Константиновича Бокова: «...время от времени читаю Вас очень сочувственно, нахожу родственные нотки. Можно ли послать Вам мою последнюю книгу “Фрагментарий”?»

Наше знакомство и вскоре возникшая дружба были недолгими: 2 декабря 2019-го Боков умер в парижском госпитале Теннон.

«Фрагментарий», — предупреждал автор, — сродни планетарию: идеи и чувства плывут в пространстве человеческой жизни. Исчезают и вдруг возвращаются метеоритами. Некоторые воспоминания еще кровоточат, а другие превратились в необитаемые холодные луны. Всякий человек космос... Всякий человек собиратель и склеиватель фрагментов своего будущего».

Читая эту удивительную книгу, я наконец понял истоки поступков Николая Бокова, которые неизменно удивляли современников, прочертил для себя необычный сюжет его жизни.

Нет сомнений: Боков был талантливейшим учеником великого Василия Васильевича Розанова. Долгие эти уроки легко ощутимы почти во всех книгах Бокова. Но вот еще один его урок, сформулированный автором в интервью с Марией Шабуровой (2010): «Во времена, так сказать, исследования жизни я подумал, что «жить» не менее важно, чем читать книги, при условии, что я отнесусь к своей жизни как к книге, которую пишет мной Кто-то: Провидение ли, Бог, Судьба... Её я читаю сам, и она рассказывает о моём отношении с миром веществ

венным и миром идеальным, потусторонним... Гармония таится за всеми ужасами и безобразиями. И она сладка, и она-то и есть рай и вечность».

В этих словах, впрочем, можно услышать самоутешение автора. Какая уж там гармония! В СССР Боков был диссидентом, с отрочества — сочинителем и распространителем Самиздата. Многочисленные допросы в КГБ, изгнание из аспирантуры. Наконец, Система окончательно «выдавила» его из страны. И в какой-то степени это был благополучный финал. Без тюрьмы, лагеря, ссылки. В 1975-м — более сорока лет назад — Боков попал на Запад.

Конечно, писатель Николай Боков был по-своему очень близок мне. Прежде всего тем, что его неукротимо притягивал эксперимент. Не только в литературе — в жизни. Собственно, экспериментом и была вся жизнь Бокова. Он рано начал задавать себе, а потом и своим героям одни и те же вопросы: что такое человек? На что он способен в условиях свободы и — не-свободы? Эти вопросы обычно мучают подростков и философов. Николай Боков в душе так и остался навсегда подростком. А философия — это его специальность, полученная в Московском университете.

В поисках ответа Боков долгие годы не только менял жанр и стиль своих книг — не раз отважно менял свою жизнь. Стал в Париже клошаром, ночевал на улицах, испытывал себя, прося у прохожих милостыню. Жил в пещере. Скитался по монастырям. Переезжал из страны в страну, вглядываясь в чужой быт и уча чужие языки. Часто без паспорта, не имея денег на билет. Потом вернулся в литературу, рассказал о своих исканиях в книгах.

Какой ответ он в конце концов получил? Спрашиваю об этом себя, хотя прекрасно знаю: вопрос — и в жизни, и в литературе — порой гораздо нужнее, чем ответ.

«Зона ответа» — название еще одной, важной для Николая Бокова книги. Он написал ее, вернувшись в мир «приличных» людей.

Удачной ли была его писательская судьба? В эмиграции литератор почти неизбежно теряет своего читателя. А нового — не находит. К счастью, Бокова это коснулось не в полной

мере. Он печатался в журналах русской эмиграции, двухтомник его произведений вышел в России — неважно, что в провинции, в Нижнем Новгороде, маленьким тиражом. При этом Боков давно уже писал и публиковался по-французски. И даже получал французские литературные премии.

В годы нашего общения он был еще не стар. Но постоянная тема его последних писем — вплотную приблизившаяся старость. Николай хотел сделать старость предметом художественного исследования. И, может быть, победить ее? («Интересно, если написать книгу о старении и о старости, будет ли кто-нибудь ее читать? Тем, кто еще не... — “не мое дело”... Тем, кто уже — “сами все знают”».)

Ему казалось: приходит старость. А это стучалась в его двери смерть.

*

...За семь лет полностью обновляется организм человека. И мы начинаем все чаще повторять слова, которые услышал от Создателя наш праотец Авраам: «Встань и иди!» Все так. Однако далеко не сразу видишь логику в том, что мы порой пугливо называем Судьбой.

Случайно ли то, что именно через семь лет я оказался в Америке? Внешняя причина новой эмиграции очевидна: в Чикаго жили престарелые родители жены; они нуждались в дочери, а дочь боялась никогда больше не увидеться с ними. Но случайно ли то, что именно здесь, в США, я снова встретил «одиноких среди идущих», узнал продолжение их историй?

*

Одинок человек, совершающий свой выбор.

Одинок человек, задумавшийся о своем пути.

Одинок литератор, ищущий свое, единственное, слово.

Одинок человек молящийся.

Каждый, кто одинок, вверяет свою судьбу Всевышнему. И только Он способен помочь.

*

Статьи в русскоязычных изданиях Израиля; авторы красноречиво доказывают: после обряда обрезания потенция муж-

чины не уменьшается. Статьи написаны как речи адвокатов. Потому у проницательного читателя закрадывается сомнение. Ведь нет дыма без огня. Могу подтвердить: сомнения напрасны. Но в том ли собственно дело? Обрезание (брит-мила) — знак вечного союза еврея со Всевышним.

Я сделал обрезание в Израиле в январе 1992 года. Холодным хмурым утром, в номере иерусалимской гостиницы. Мне шел сорок четвертый год.

Во время обрезания еврею дают имя. Детям имя выбирают родители. Взрослый человек выбирает себе имя сам. Я ничуть не задумался: Иегошуа. В дореволюционной России имя Иегошуа часто переделывали в Евсея.

А что в Торе? В преддверии смерти нашего пророка и учителя Моисея Всевышний поручил одному из его питомцев — Иегошуа — привести народ в землю Израила.

*

Взял интервью у многих людей. Задавал неудобные вопросы, чтобы пробиться в тайное тайных человеческой жизни. Однажды моя подруга профессор Ирена Вейсайте (юная узница Каунасского гетто, ставшая потом обладательницей многих международных наград) посоветовала: «Вам надо обязательно проинтервьюировать самого себя».

*

Неожиданно это оказалось трудным. Подготовив вопросы, начинаю отвечать. Но почти каждый раз... засыпаю. Сознание отталкивает самоанализ? Рассказываю об этом Григорию Яблонскому (известному химику, с которым познакомился еще в 68-м году в новосибирском Академгородке. Тогда Яблонский был одним из организаторов знаменитого съезда бардов; сейчас, в Америке, он — профессор нескольких университетов, автор оригинальных научных концепций и не менее оригинальных коротких рассказов, построенных на парадоксах мышления). Нет, он не удивлён, вспомнил: «Лет 50 тому, в конце 60-х гг., мне пришёл в голову вопрос, показавшийся интересным: “Почему человек не смеётся, когда сам себя щечочет?”», ответа я до сих пор не знаю.

*

Заменят ли эти заметки несостоявшееся интервью?

*

Помимо прочего. Для чистоты эксперимента было бы правильно описать свою сексуальную жизнь. Раннее и неуклюжее начало, ошибки, которые делали юные, обремененные застенчивостью люди. Нет, для этого мне не хватает смелости. Уже написал две страницы и — стер. Кого я стесняюсь? Жены? Надеюсь, сумел бы объяснить ей необходимость этих эпизодов в своих записках. Возможных читателей, среди которых будут знакомые? Признаюсь: мне уже давно безразлично любое чужое мнение. Мне будет неприятно, если эти странички прочтет дочь. Для детей их родители всегда безгрешны.

*

И снова вспоминаю слова Ребе Рашаба: люди состоят из трех слоев. Есть «внешний человек». Есть «средний человек». Есть «внутренний человек». Сколько бы ни испытывала, сколько бы ни ломала нас жизнь, лишь первые два слоя могут быть повреждены. Внутренний же человек никогда и ничем не может быть исковеркан.

Пытаюсь пробиться, прорваться к нему.

*

Наше вечное противостояние энтропии — мрачной силе, которая уничтожает следы человека.

Вот интересное предложение, пришедшее в редакцию публицистического и литературно-художественного ежесычника «Шалом», который я редактирую: надо создать Интернет-энциклопедию, где будут статьи о самых обычных людях. «Поэзия обычной судьбы объясняет время».

*

«Я» или «он»? В дневнике это очень важно. «Я» означает полное растворение в материале. «Он» добавляет дистанцию, отстранение.

Время от времени выбираю местоимение «он», потому что наблюдаю себя со стороны.

*

Это пришло во время занятий йогой. Обойдусь без подробностей. Те, у кого была подобная практика, поймут меня сразу.

Взгляд на себя как на *другого*. Появляется дистанция. Исчезает жалость к себе.

*

Тамара Владимировна Иванова (бывшая жена Бабеля, вдова Всеволода Иванова), заботливо и мудро наставлявшая меня, почти мальчика, в самом начале 70-х говорит мне почти о том же: «Большинство людей не видят себя со стороны. Отсюда их беды».

*

Беда многих писателей в том, что они не могут выстроить дистанцию между собой и героем.

*

Три мои книги о Всеволоде Иванове. Самая первая — «Беседы в дороге. Литературный наставник, критик, редактор» (Новосибирск, 1977).

*

«Неожиданный Всеволод Иванов!» — не раз восклицали его современники. Всю свою жизнь этот «оппозиционный классик» советской литературы уходил не только от догм соцреализма — от самого себя прежнего. «Умер очень большой, не прочтенный нами писатель», — как всегда, парадоксально и пронзительно, закончил свои воспоминания о нем Шкловский. Здесь все правда. Иванов оставил после себя целое собрание неопубликованных, ярких, во многом экспериментальных книг.

«Неожиданный Всеволод Иванов!» — повторил и я: оказалось, в одном из московских архивов хранится около трехсот не известных читателю рецензий мастера на произведения молодых авторов. Да, Иванов был зорким и мудрым литературным наставником. Он учил начинающих писателей многому — в том числе и художественному поиску, вечному сомнению, которое так важно в искусстве.

В своей книге я пытаюсь восстановить «школу Иванова, понять ее основу». И, конечно, определить основные этапы творческого становления литератора.

*

Когда-то прочитал: среди каждых ста тысяч человек есть два абсолютно похожих. Может быть, двойник и есть наше редкое зеркало?

В 84-м году он встречается собственную «копию» в Железноводске. В санатории, где принимает минеральные ванны. Однажды, уже вытирая тело полотенцем, вдруг оглядывается, видит: занавеска, отделяющая соседнюю ванну, отдернута. А там... лежит он, двойник. Глаза мужчины закрыты. Можно спокойно разглядеть его. То же лицо, та же фигура. Даже родимое пятно на груди — то же. Даже отросток, бесстыдно вздымающийся над водой.

Спустя двадцать лет, в Чикаго... Видит в одной из газет фото автора статьи. И — опять узнает себя, постаревшего. Звонит, слышит в трубке чужой голос, предлагает встретиться. Голос безоговорочно тверд: «Мало ли на свете похожих людей?» Этот короткий спор убеждает: встречи с двойниками, действительно, не нужны.

*

Не мешает ли поэту увлечение политикой? Проблема кажется умозрительной, пока не приблизишься к конкретной судьбе.

В 1987–89 гг. я учусь на Высших литературных курсах в Москве. Среди слушателей выделяется чеченский поэт З.Я. Высокий, темпераментный человек, который часто с болью говорит об истории и бедах своего народа. Он дает мне читать подстрочки собственных стихов, похожие на него самого: яркие и громкоголосые. К З.Я. нередко приезжает семья. С тревогой смотрю на его старшего сына. Мальчику лет десять. Энергия захлестывает его. Он безудержно, подолгу, катается в лифте общежития Литинститута или бегаёт по московским улицам. Его невозможно унять. Вернувшись в конце лета на ВЛК, узнаю: сын З.Я. погиб, попав под машину.

Кажется, энергия переполняла и самого З.Я. Трагическая, сотканная из противоречий биография одного из лидеров независимой Чечни хорошо известна, чтобы сейчас ее повторять. А я порой вспоминаю то, с каким пророческим вдохновением З. Я. читал стихи на родном языке.

*

Может быть, самое главное для автора — найти свой литературный жанр. Он «рифмуется» с темпераментом, с тембром писательского голоса, с особенностью взгляда на мир.

*

Издатели, озабоченные количеством книжных продаж, уже долгие годы подталкивают писателя к жанру романа, который во все времена любит массовый читатель. И тут нередко возникают трагические коллизии: талант многих авторов вовсе не созвучен роману. Им, к примеру, ближе новелла, повесть или драма. Да и сам жанр романа часто видится в таких случаях с наивным простодушием: будто бы прежде всего роман предполагает подробные жизнеописания, лихо закрученный сюжет, бесстрашие правды, понимаемое как нагромождение «мерзостей жизни».

Между тем настоящих романов написано не так уж много. Каждый из них — сложное и неповторимое архитектурное сооружение. В фундаменте каждого — собственная, авторская, философия человека и мира.

*

В Советском Союзе писательскому мастерству учили в нескольких вузах (упомяну только Литинститут, сценарный факультет ВГИКа). В США — сотни университетов и колледжей. И в каждом из них преподают курс creative writing. Делает ли это счастливее и гармоничнее человека?

*

Множество литературных премий. Боюсь, читатель не вспомнит не только лауреатов премий журналов, газет, областей, клубов, но и обладателей Букера и Нобеля.

Риторический вопрос: происходит ли девальвация премий, которые вряд ли способствуют сегодня развитию литературы? Впрочем, хорошо одно: некоторые премии — немногие — имеют денежное наполнение и поддерживают писателя.

*

Литература уходит в Интернет. Дина Рубина припомнила уже давнее наставление подруги: «Если тебя нет в Интернете, значит, тебя нет нигде».

В Интернете же литературная жизнь кипит. Там идет борьба. Дискуссии не на жизнь, а на смерть. Утверждение и свержение лидеров.

И все та же неграмотность.

И беспамятность.

*

Писатели трудно выбирают названия своих книг. Одни считают: название должно точно отражать суть произведения. Другие говорят: название передает настроение, нерв, какой-то внутренний мотив, важный для автора. А в старину еврейские книги часто получали имя по первому слову текста.

*

«Поэзия — это молитва души». Слова Блока проясняют многое. И то, почему поэт нередко приближается к разгадке тайны мироздания. И то, почему «средние» стихи заведомо никому не нужны.

Но разве не относятся слова Блока и к прозе, и к драме, и к критике?

*

Математик и поэт Борис Кушнер в своей статье о «Долгих беседах...» написал, что читал «Беседы» под 15-й бетховенский квартет a-moll.

Для меня было лестно узнать об этом. Однако сам я музыку во время чтения книг никогда не включаю. Может быть, потому, что погружаясь в текст, хочу услышать ту музыку, которая всегда звучит в поэзии, прозе, драме. Если, конечно, это настоящая литература. Но... часто слушаю музыку, когда пишу

сам. Музыка помогает обрести открытое миру сознание, почувствовать внутреннюю свободу... Обычно это Вивальди, Моцарт, Бетховен.

*

С. Ш. сравнивает эмиграцию со смертью. Даже не в том смысле, что эмиграция тяжела и трагична: оказавшись в чужой стране, ты постепенно умираешь и рождаешься другим человеком.

— Я теперь другая...

Была сотрудницей музея, экскурсоводом, переводчиком. В Литве. Стала женой, нянькой. В Испании. Муж ее Джозеф-Мария (художник, 60 лет) после аварии недвижим: сначала передвигался в кресле, теперь не встает.

— ...Но любовь все преодолееет... И ни о чем не жалею. Сначала, в первый год, очень скучала по Вильнюсу, теперь он так далек от меня.

— Не могла долго обойтись без своих вещей и книг, теперь кажется: и не нужны уже вовсе... Даже книги. Купила другие. Целый шкаф.

*

Осторожно выпрашиваю многих; наконец, убеждаюсь: человек, как правило, не узнает себя в зеркале.

В разные годы *не узнаю* себя по-разному.

В юности вздрагиваю, не понимая: кто это передо мной? Видимо, внутреннее зрение создавало иной образ.

Сейчас *неузнавание* другое. Увы, падает интерес к человеку в зеркале.

*

Зато интересно наблюдать за тем, как здороваются с тобой молодые люди. В их глазах — порой внешне не заметная хитрость. Они думают о будущем — твоим и своим. Они точно знают: впереди у тебя — болезни и смерть. А они... они, конечно, сумеют обмануть старость. (В детстве я тоже был уверен, что если не сам, то кто-то другой совсем скоро изобретет чудесный эликсир бессмертия).

Одну и ту же ошибку совершают все новые и новые поколения. Несколько десятилетий пролетают мгновенно — в вечной суете жизни. И вот уже другие *молодые* хитровато здороваются со старшими. Пытаясь спрятать во взгляде сочувствие, сожаление или даже легкое презрение.

*

Никогда ее не видел. Но когда-то опубликовал эссе об искренних, часто пронзительных стихах Э.Р. Лет десять мы не переписывались и не говорили по телефону. Спрашиваю теперь: «Где можно прочесть ваши новые вещи?» Э. молчит. Спрашиваю иначе: «Пишете ли вы стихи?» Молчит опять. Но потом отвечает — осторожно, думая, что я ее не пойму: «Я теперь иначе отношусь к стихам. Часто они пророчат несчастья и всегда — приносят печаль».

В самом деле, в минувшие годы несчастья сваливались на Э., как снежный ком. Сейчас она живет в Израиле, продолжает, как и многие годы, издавать чужие книги. «А свои?» — бес тактно настаиваю я. «Зачем? Ведь все и обо всем уже сказано в Священных текстах: вся судьба наша — там».

Она напрасно думает, что не пойму ее.

*

Счастье — жить в согласии с собственной душой, а это значит — выполнить замысел Бога. Каждый из нас приходит на эту землю с какой-то миссией. Но, увы, мы не всегда понимаем, в чем она состоит. Нередко в конце жизни уже знаем от чего умрем, но по-прежнему не догадываемся о том, для чего появились на свет.

*

Восхищаюсь К.Н., который выпустил в эмиграции пятнадцать книг. Он приходит в офисы врачей, адвокатов, на встречи ветеранов. И сразу начинает читать фрагменты из своих поэм. Мешает работать? Конечно. Но не уходит, когда ему указывают на дверь: «Сначала помогите издать книгу! Кто сколько сможет...» Ах, если бы ему еще немного таланта! (1998)

*

Все тот же вопрос, иначе сформулированный: в чем заключается смысл человеческой жизни? Разные люди ответят по-разному. Самое банальное — видеть смысл жизни в обретении богатства или славы. Человек в таком случае обязательно окажется у пресловутого разбитого корыта. Даже если его мечта сбудется. Не хочу сейчас открывать Америку — просто повторю мудрые слова Эриха Фромма, над которыми не раз задумывался: «Главная жизненная задача человека — дать жизнь самому себе. Стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий — его собственная личность».

*

В интервью для юбилейного номера журнала «Крещатик» (Германия) меня спрашивают: «Как Вы оцениваете ситуацию с русским языком в современной литературе?». Начинаю свой ответ тоже с вопроса: какой смысл мы вкладываем в понятие «современная литература»? Уже давно подмечено: сейчас параллельно и, в сущности, независимо друг от друга существуют несколько литератур на русском языке. Одна — у всех на виду — представлена в столичных российских (демократических) журналах и обильно поощряется многочисленными литпремиями. Другая бурно функционирует в Интернете. Третья — увы, почти не замечаемая критикой — живет в эмиграции. Оборву перечисление. Потому что хочу говорить только о литературе эмиграции — вечной золушке на чужом балу. С русским языком у нее, слава Богу, все в порядке. Когда-то советские литературоведы угрюмо отмечали: в эмиграции русский язык как бы застывает — без подпитки «из кладезя народной жизни». Исключение, подтверждающее правило, делалось только для нескольких классиков: они будто бы увезли богатства языка, точно горсть родной земли, в скудном багаже изгнанника. А сейчас — откройте книги Дины Рубиной, Григория Кановича, Владимира Порудоминского, Бориса Хазанова, Андрея Назарова, Игоря Ефимова: вас захлестнет порой причудливая, всегда живая стихия русской речи.

*

Приезжие расспрашивают: как живут писатели в эмиграции? Общаются ли друг с другом? Сегодня подобное общение стало редкостью. Где сейчас «литературная среда»? Где традиционные центры русской эмиграции, существовавшие когда-то в Париже, Праге, Берлине? Они практически исчезли. В том числе и в США. Давно перестали объединять писателей разных стран и немногочисленные эмигрантские журналы.

С годами все чаще предпочитаю общаться с коллегами по телефону. В этом есть одно неоспоримое преимущество: голос, как и душа, не стареет.

*

Многие — в том числе писатели — отдают немало времени социальным сетям. Иногда думаю: социальные сети оглушают нас. Заглушают тихий голос Бога.

*

В мае 2018-го увидел разрушенную коммунистами Гавану.

Многие улицы в центре города, кажется, недавно пережили бомбежку. То и дело возникали печальные скелеты когда-то прекрасных зданий: полуразвалившиеся стены, окна без стекол. Поразительно: кое-где в мертвых домах все еще жили люди. Это не походило на реставрацию — нигде не было видно строительных лесов. «Ремонт или просто покраска фасада стоят очень дорого», — сказала, словно оправдываясь, экскурсовод. Но никто ей и не задавал «провокационных» вопросов. В автобусе, кроме нас с женой, сидели кубинские эмигранты или их потомки. Они и так все знали. Слава Богу, не так давно у них появилась возможность приехать сюда из Америки: на экскурсию, но главное — повидаться с родными.

Самое интересное в Гаване было связано с проклятым до-революционным прошлым. Мы долго ходили по старому кладбищу. Здесь имелись другие улицы — из гранита и мрамора, возвышались поражающие глаз монументы, стояли даты: 1905, 1934, 1951 и т.д. А вечером мы побывали в знаменитом варьете «Тропикана»: смотрели представление, которое идет

непрерывно с 1939 года. Его не тронули коммунисты. Великолепные певцы и танцоры; яркие, но ветхие костюмы, на которые у государства нет средств.

Вечером в городе почти не было видно огней. Люди экономили электричество. Шел проливной дождь. Несмотря на это, мужчин-туристов осаждали проститутки — в основном старые, уже истрепанные профессией. Конечно, вспомнил: когда-то курорты и публичные дома составляли славу Гаваны.

Все минуло. Когда мы выходили с корабля, нас заботливо предупредили: «Возьмите с собой туалетную бумагу».

*

Роль литературы в сегодняшнем мире ничтожна мала. Но должно ли нас это огорчать? Вряд ли. Гораздо хуже, когда литература становится «учебником жизни». Конечно, писатель помогает человеку понять мир и самого себя, свое предназначение на земле. Однако то же самое по-своему делают философия, психология, а главное — религия. Литература же — это, прежде всего, волшебная «игра в бисер»: в нее играют немногие. Что ж, пусть такой и остается.

*

Взглянув в зеркало, всегда сразу узнаю глаза.

Серые, в красных прожилках, почти потухшие. Но все еще о чем-то спрашивающие.

2018–2020

СПОКОЙНОЕ МУЖЕСТВО ПРОЗЫ

Любая книга Евсея Цейтлина воспринимается как вселенная — судеб, чувств, мыслей и снов. Эти книги медленно читаются, потому что пробежать глазами их невозможно: каждый эпизод, каждое воспоминание и каждое лицо властно возвращает читателя к строке, к осмыслению, к внутреннему взгляду. И потом долго вспоминаются люди этой прозы, которых так много, что они могут составить население города. Ни единой проходной мысли в книге, ни одного банального сравнения, ни одной расхожей судьбы.

Тревожные, вздорные, мудрые, счастливые и несчастные — персонажи этой книги напоминают те старинные фотографии, для которых люди долго готовились, долго сидели, напряженные и застылые, чтобы снимок получился, чтобы их лица остались — навсегда: для внуков, для правнуков. И потому кажется, что они вглядываются в нас, сегодняшних, с тем особенным взыскательным вниманием, с каким обычно смотрят со снимков люди прошлого. В этом — поразительная пристальность автора, его умение, не отрываясь, смотреть в глубину жизни; угледеть и выудить из истории, сцены, ситуации или судьбы ту единственную болевую и пронзительную суть — то сокровенное, что способно зацепить нас, сегодняшних, — загруженных и суетливых. Зацепить, и долго не отпускать.

Но главное в этих эссе и миниатюрах: интонация. В любой книге всегда главное — интонация. У Евсея Цейтлина это — спокойное мужество.

Дина Рубина

ОБ АВТОРЕ И КНИГАХ

Евсей Цейтлин (Yevsey Tseytlin, Jevsejus Ceitlinas, Jewsej Zeitlin) — эссеист, прозаик, культуролог, литературовед, критик, редактор.

Родился в Омске.

Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю литературы и культуры.

Автор литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства.

Основные работы Евсея Цейтлина собраны в его книгах: «Писатель на дорогах Исхода. Откуда и куда?» (С.-Петербург, «Алетейя», 2020), «Одинокие среди идущих. Из дневников этих лет» (С.-Петербург, «Алетейя», 2013), «Снег в субботу» (Таганрог, «Нюанс», 2012), «Шаги спящих» (Franc-Tireur USA, 2011), «Несколько минут после. Книга встреч» (Franc-Tireur USA, 2011; С.-Петербург, «Алетейя», 2012), «Откуда и куда» (Franc-Tireur USA, 2010), «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти. Из дневников этих лет» (Вильнюс, Издание Еврейского музея Литвы, 1996; М.-Иерусалим, «Даат/Знание», 2001; Franc-Tireur USA, 2009; Franc-Tireur USA, 2010; «Алетейя», С.-Петербург, 2012; Ростов-на-Дону, «Феникс», 2020; на литовском — Vilnius, «Vaga», 1997; на немецком — Berlin, «Rowohlt», 2000; на украинском — Киев, «Каяла», 2017; на испанском — Чикаго, Bagriy&Company, 2018; на английском — Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2018), «Писатель в провинции» (М., «Советский писатель», 1990), «Голос и эхо» (Калининград, 1989; Franc-Tireur USA, 2011), «Вехи памяти» (М., «Книга», 1987; совместно с Львом Аннинским), «На пути к человеку» (Кемерово, 1986), «О том, что остается» (Иркутск, 1985), «Долгое эхо» (Калининград, 1985; на литовском — Vilnius, «Vyturys», 1989), «Свет не гаснет» (Кемерово, 1984), «Жить и верить...» (Кемерово, 1983), «Всеволод Иванов» (Новосибирск, 1983), «Сколько дорог у "Бронепоезда №14-69"»

(М., «Книга», 1982), «Так что же завтра?..» (Кемерово, 1982), «Всегда и сегодня...» (Кемерово, 1980), «Беседы в дороге. Всеволод Иванов — литературный наставник, критик, редактор» (Новосибирск, 1977).

Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей.

Начиная с 1968 г., публиковался во многих литературно-художественных журналах и сборниках.

Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 г. живет в США, редактирует чикагский ежемесячник «Шалом».

Был членом Союза писателей СССР (1978), является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом международного Пен-клуба («Writers in Exile»).

Член редколлегии журналов «Времена», «Новый континент», «Слово-Word», «Чайка» (США), «Мосты» (Германия).

СОДЕРЖАНИЕ

ОДИНОКИЕ СРЕДИ ИДУЩИХ

Без языка	7
Еврейское счастье	9
Тем же днем — еще встреча	9
Деталь	10
Тот, кто остается	11
Снег в субботу	11
Истина	13
Фразы	14
Карта	14

ТАЛАНТ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Вопрос	19
Пыль	21
Версия	25
Знак смерти на линии жизни	26

ПОСЛЕВКУСИЕ СНА

Вороны	39
Пробуждение	40
Мотив погони	41
Одна строка	42
У озера	43
Между прочим	45
Формула сна	46
Парижские сны	46
Танец на льду	47
Филологический сюжет	48
Встреча	49

Брат.....	50
Откуда приходят ночные страхи	51
Кто-то помнит.....	52
«Неинтересный секс»	52
Красная смородина	53
Проказа.....	54
Сбывшееся	55
Мед	56
Тайны Эстер.....	58

ЭССЕ

Путник	63
Так и было	69
Одно письмо	73
Вспомнить не все.....	78
Полет одинокой птицы.....	86
Человек и судьба «по ту сторону слов».....	92
Эмиграция как сон.....	109
Перечитывая молчание	134
Кто-то в зеркале.....	146
<i>Дина Рубина. Спокойное мужество прозы</i>	<i>167</i>
<i>Об авторе и книгах.....</i>	<i>168</i>